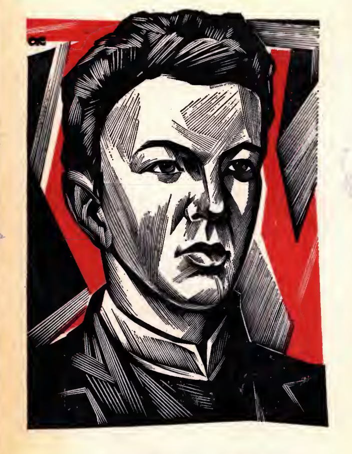


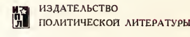
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

СЕРИЯ «СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ»

ВЛАДИМИР СУТЫРИН

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

(1866—1887)


ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва • 1971

9(С)16
С90

Сутырин В. А.

С90 Александр Ульянов (1866—1887). М., Политиздат, 1971.

152 с. с илл. (Семья Ульяновых).

Александр Ульянов, старший брат В. И. Ленина, прожил всего 21 год. В мае 1887 года за подготовку покушения на царя он был казнен. О короткой его жизни и революционной деятельности рассказывается на страницах этой книги писателя В. А. Сутырина.

1—6—4
86—70

9(С)16

От автора

8 мая 1887 года на эшафоте, установленном во дворе Шлиссельбургской крепости, оборвалась жизнь Александра Ильича Ульянова. Ему только что исполнился 21 год.

Его соучастник по судебному процессу, Михаил Васильевич Новорусский, отсидевший без малого два десятилетия в той же крепости, писал о нем в своих воспоминаниях:

«Он сгорел, не успевши вырасти. Его вырвали из жизни, не дав сложиться окончательно этой даровитой личности с благороднейшим нравственным обликом. Он мелькнул, как метеор, на историческом небосклоне еще за 18 лет до первого просвета в нашей общественной жизни, до первой российской революции 1905 года, и за 30 лет до нашей пролетарской революции».

Как всякий афоризм, душа которого — краткость, это сравнение с метеором не может, конечно, служить исчерпывающей характеристикой. Но афоризм удачный всегда остро схватывает в характеризуемом явлении что-то наиболее яркое, существенное. Образ метеора, примененный к Александру Ульянову, нам представляется счастливой находкой Новорусского.

Действительно, активная революционная деятельность Ульянова была подобна быстротечному существованию метеора в земной атмосфере. Если даже включить в нее речь на суде, содержавшую бесстрашную критику царского строя, то и тогда вся она уложится в какие-нибудь пять месяцев.

Будто ослепительная вспышка сгорающего метеора, она на мгновение осветила беспросветный мрак реакционного царствования Александра III.

Ученые, анализируя спектр излучения небесного пришельца, получают понятие о его химической природе. Мы же, анализируя особенности террористического заговора, в котором сгорел Александр Ульянов, можем многое понять в характере последнего и составить представление о мотивах, приведших к покушению на цареубийство.

Разумеется, такой анализ невозможен, если наглухо замкнуться в трехмесячном интервале времени, когда складывалась и действовала террористическая группа, в которую входил Ульянов. Недостаточен и трехлетний период его студенческой жизни в Петербурге. Понадобится заглянуть в Симбирск, город детства и ранней юности. Не обойтись нам без упоминаний об отце, матери, об атмосфере, царившей в этой удивительной семье.

И все-таки в небольшой книге, которую вы, читатель, взяли в руки, все события в жизни Александра Ульянова, все перипетии так и не завершившегося процесса созревания его личности будут стянуты в один узел — короткую историю покушения на жизнь

Александра III. А на этом фоне мы попытаемся набросать эскиз — не более того — к психологическому портрету Александра Ильича.

В чем видит автор смысл такого построения книги?

Попытка цареубийства, предпринятая группой Ульянова, в литературе иногда именуется — «второе 1 марта». Но такое наименование отражает лишь случайное совпадение календарных дней двух разных событий — 1 марта 1881 года, когда народовольцы убили Александра II, и 1 марта 1887 года, когда бомбометатели группы Ульянова в третий раз вышли на Невский в надежде встретить карету Александра III и были схвачены полицией.

Глубокое различие этих двух террористических акций отнюдь не исчерпывается тем, что народовольцы достигли цели, а «вторым» первомартовцам отчаянно не повезло.

Ленинская оценка индивидуального террора как бесполезного и даже вредного оружия революционной борьбы, когда он не связан с массовым революционным движением и не диктуется конкретными условиями момента, давно уже стала для нас аксиомой. Однако мы до сих пор не перестаем восхищаться героями «Народной воли». Восхищаемся не только их бесстрашием, готовностью к самопожертвованию, но также той двухлетней титанической деятельностью, которая потребовалась для того, чтобы привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ими Александру II.

«Народная воля» была могучей революционной организацией. Ее Исполнительный комитет являл собой блестящую плеяду людей, вышколенных многолетней подпольной работой. Ее систему конспирации, созданную Александром Михайловым, надо признать почти безупречной. Народовольцы были силой, перед которой трепетал царь, а огромный полицейско-жандармский аппарат Российской империи часто оказывался несостоятельным.

Группа Ульянова была малочисленна — в ней насчитывалось не более десятка молодых людей, решивших взяться за оружие революционного террора. Все они были студентами, жившими на легальном положении и, следовательно, находившимися, как и вся студенческая масса столицы, под пристальным взором полиции. В отличие от народовольцев, они не располагали сколько-нибудь значительными денежными и техническими средствами. У них не было и малейшего опыта конспиративной работы. Подбор участников группы, когда ею руководил студент Петр Шевырев, осуществлялся с легкомысленностью непростительной...

Короче говоря, если с такой, практической, точки зрения подходить к этому заговору, трудно найти в нем что-либо похожее на блестящую заговорщическую деятельность «Народной воли». Но возможен и иной подход к этой трагической истории. Именно он приводит нас к правильной оценке.

Ошибки и промахи не могут быть поставлены в вину людям, которые самозабвенно отдались революционной борьбе, не имея прак-

тического опыта. Это не вина их, а беда. И она нисколько не умаляет красоты их подвига, потому что подвиг, совершаемый во имя истинно высокой цели, всегда, независимо от практического результата, прекрасен. Он вызывает у нас восхищение выдающимися нравственными достоинствами людей, готовых жертвовать жизнью даже в самых неблагоприятных условиях революционной борьбы. Вот почему мы видим Александра Ульянова, как и его товарищей, в одном ряду с героями «Народной воли».

Наиболее полно и ярко проявились нравственные основы его личности, вся его богатая натура, когда он, вступив на путь террористической борьбы, мелькнул, как метеор, на историческом небосклоне. Это и был тот миг, та самая исключительная ситуация, в которой человек, быть может, один-единственный раз в жизни, сам того не сознавая, распахивается настежь и дает нам возможность разглядеть его внутренний мир во всем богатстве.

Такова причина, заставившая автора избрать принцип изложения, позволяющий события и перипетии жизни Ульянова поставить в логическую связь с его участием в заговоре, а последний сделать сюжетным стержнем всего очерка.

Объясним также смысл нашей фразы о психологическом портрете.

В одном из биографических очерков об Ульянове, написанном с хорошим знанием материала, сказано так о его решении стать на путь террора: «Понять побудительные причины его решения можно только исходя из

особенностей революционного движения эпохи». Если эта фраза точно передает мысль автора, согласиться с ней никак нельзя. Само собой разумеется, поступки человека в той или иной мере обусловлены причинной внешней, объективной — условиями, в которые он поставлен независимо от его воли. Но есть и другая, не менее важная причина, внутренняя — он сам как личность, его характер, его жизненный опыт, его интеллект. Взаимодействие этих двух причин и приводит к тому, что в определенной ситуации человек принимает то или иное решение.

Несомненно, особенности революционного движения второй половины восьмидесятых годов прошлого столетия толкали Александра Ульянова на террор. Он и сам сказал об этом на суде, правда, имея в виду не одного себя, а всех, кого правительство вынуждает обратиться к террору, и прибавил, что среди русского народа всегда найдется десяток людей, готовых умереть за свою несчастную родину. Но когда возникает вопрос, почему Иванов и Петров вошли в этот десяток, а Сидоров оказался вне его, ответить можно лишь путем исследования и сопоставления их как индивидуальностей. Именно эти соображения побудили автора написать нечто вроде эскиза к психологическому портрету Александра Ульянова.

НА ПОРОГЕ НОВОГО ГОДА

Санкт-Петербург, столица Российской империи. Среда, 31 декабря 1886 года. 9 часов вечера.

Александр Ульянов поджидал Ореста Говорухина, своего ближайшего товарища, с которым вместе учился на четвертом курсе физико-математического факультета Императорского университета. Им предстояло идти на новогоднюю вечеринку.

Две комнаты, где жил Александр со своим земляком Чеботаревым, были чем-то вроде отдельной квартиры. Они имели свой вход с улицы, от хозяйской половины дома отделялись толстой капитальной стеной, так что звуки оттуда почти не доносились. Чеботарев недавно ушел, у него была своя новогодняя компания, и в комнатах стояла тишина.

Александр коротал время в дальней от наружного входа комнате, маленькой и узкой, как пенал. Вдоль одной ее стены стояли две железные кровати. Противоположную почти до потолка закрывали книжные полки. На них размещалась библиотека Симбирского землячества. Собрания землячества и иные людные сборища происходили в первой комнате. Ее, большую и светлую, в два окна, хозяин дома не без торжественности именовал — «зало».

Александр был погружен в глубокое раздумье. Под Новый год люди вообще склонны к мысленному обозрению своей жизни — той, что уже в прошлом, а также и той, которую, гадательно, можно ожидать в будущем. У студента Ульянова были особые причины для такого раздумья.

Говорухин, не заставивший долго себя ждать, сразу же, как вошел в маленькую комнату, поинтересовался:

— А сестра придет, Ильич?

Среди студентов, объединенных землячеством кубанцев и донцов,— Говорухин был казак станицы Усть-Медведицкой — существовал обычай именовать друг друга по отчеству.

— Не знаю...

— Жаль. При ее меланхолическом характере негоже замыкаться в своей скорлупе, да еще в такой вечер.

— Справедливо,— ответил Александр со вздохом,— но мои уговоры не подействовали.— После небольшой паузы, вернувшись, должно быть, к недавним мыслям, раздумчиво произнес: — Вот я о чем, Макарыч... По-моему, нам следует сказать Шевыреву, что с сегодняшнего вечера мы считаем себя формально вступившими в группу.

Говорухин усмехнулся:

— Вроде новогоднего подарка Петру Яковлевичу?

— Я говорю серьезно.

— Не понимаю. О чем речь, Ильич? Мы и так в группе. Или он записывает каждого новичка в гербовую книгу? А может, какой

иной, более пышный, обряд установил? Вроде приема в масонскую ложу?

— В каждом деле, Макарыч,— сказал Александр, не поддержав Говорухина в шутке,— должна быть ясность, полная ясность. В нашем — особенно. Вспомни, как мы с ним условились. В группу пока не вступаем, но и не отказываемся выполнять отдельные поручения...

— А мы,— перебил Говорухин,— хоть раз отказались?

— Нет, ты послушай,— как всегда, спокойно и терпеливо склонял Александр на свою сторону товарища.— Да, мы действительно стали, фактически, членами группы. Но именно поэтому старое условие теперь потеряло свой смысл. И мы должны сказать об этом Шевыреву.

Говорухин пожал плечами.

— Может, ты прав... А он сегодня непременно будет?

— По крайней мере, обещал... Время еще есть, раздевайся, посидим...

31 декабря 1886 года запечатлелось в памяти Анны Ильиничны Ульяновой как один из черных дней жизни.

Расставалась она с уходящим годом, оказавшись в одиночестве, и поминать могла лишь самыми недобрыми словами — с первых дней он принес несчастье, смерть отца. И Анна без внутренней борьбы отдалась горестным воспоминаниям. Вселял тревогу и день завтрашний.

За последний месяц она не впервые силилась понять: что случилось, почему в их тесной дружбе с братом обнаружилась какая-то трещина, которая заметно ширилась, грозя превратиться в отчуждение? Александр занимал в ее жизни слишком большое место, чтобы это не вызывало мучительной тревоги.

В своих «Воспоминаниях об Александре Ильиче Ульянове», впервые опубликованных в сорокалетнюю годовщину его трагической гибели, Анна Ильинична, обладавшая незаурядным литературным дарованием, не только проникновенно и задушевно рассказала о его короткой жизни. Она открыто, не боясь быть заподозренной в сентиментальности, рассказала читателю о своей нежной любви к Александру Ильичу, о глубоком уважении и преданности. Родившись почти на два года раньше его,— а девочки, как известно, взрослеют обычно быстрее мальчишек — Анна еще в ранней юности как бы отдала свое старшинство брату. И произошло это так естественно, что ни она, ни он этого не заметили. Пожалуй, лучше всего охарактеризовать ее отношение к брату одним словом — преклонение. Анну пленяли его ум, редкостная целеустремленность («...еще мальчиком нашел себя»,— писала она, имея в виду раннее увлечение естественными науками), его железная воля (он умел «брать стойкие решения надолго и проводить их с неуклонностью»), его редкостная работоспособность («...не могу работать больше шестнадцати часов в сутки»,— сокрушенно признавался Александр сестре). Ее пленяли в брате моральная чистота,

отзывчивое сердце, всегдашняя готовность к самопожертвованию ради близких, товарищей...

В книге о брате нет, кажется, страницы, где бы так или иначе не проявилось это преклонение. Вот, например, такая:

«Осталась у меня в памяти одна прогулка с Сашей этим летом в лунный вечер по саду. Все домашние уже разошлись на покой, а я, наскучив бродить одиноко по нашему садику, подошла к оконцам Сашиной кухни (в этой летней кухоньке Александр, будучи еще учеником гимназии, устроил лабораторию для своих занятий естественными науками.— *В. С.*) и стала с жаром упрашивать его погулять со мною. Он уступил. Мы прошлись по улицам, а затем вернулись в сад. Мое настроение под влиянием какой-то полуребяческой влюбленности, которую я переживала тогда, было в этот вечер особенно восторженным, и я неожиданно для себя вдруг крепко обняла Сашу. Обычно никаких нежностей между нами не было, но тут я не могла удержаться. Саша ответил на мой порыв крепким братским объятием, таким ласковым, таким чутким. И так, обнявшись, прошли мы несколько шагов по саду. И вот в этот момент все запело во мне особенно громко. Этот день я вспоминала в последующие годы как праздник: такое чистое и поэтическое счастье доставило мне это братское объятие».

Арестованная в один день с братом, она из тюрьмы, куда ее заключили, писала в другую тюрьму, где находился Александр:

«Лучше тебя, благороднее тебя нет чело-

века на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя...»

Анна не ошибалась: все, знавшие Александра Ульянова и оставившие воспоминания о нем, писали, само собой разумеется, не столь лирично, но по существу не расходились с ней в оценках его душевных качеств.

Легко представить теперь, каким тяжелым камнем легло на сердце Анны то, что было со страхом воспринято ею как начавшееся отчуждение. К тому же она терялась в догадках. То говорила себе, что «трещина», «отчуждение» — все это плод ее мнительности. То, пытаясь опереться на кое-какие факты последнего времени, приходила к выводам противоположным: что-то, чему она не могла найти убедительного объяснения, несомненно, вторглось в их отношения. Но и тут она винила себя, а не Сашу. Должно быть, он обнаружил в ней какие-то черты, которые не любил в людях. Но какие?.. А ведь как счастливо развивалась, крепла их дружба в Петербурге!

Осенью 1883 года Александр был зачислен на естественное отделение физико-математического факультета. Осуществилась наконец его заветная мечта — стать студентом Петербургского университета, где обучали естественным наукам такие профессора, как Менделеев, Бутлеров, Вагнер... Анну приняли на Высшие женские курсы (Бестужевские), по окончании которых она намеревалась заняться педагогической деятельностью.

Вышло так, что поселились они далеко друг от друга. Александр нашел пристанище на Петербургской стороне, на Съезжинской

улице, в небольшом деревянном доме. Ему очень повезло. В комнату ход вел прямо из передней, соседняя комната, гостиная, обычно пустовала. Было тихо, удобно для занятий. И хозяйка была внимательная, добросердечная. Анна сняла комнату на Сергиевской, прельстившись близостью к дому Боткина, где тогда размещались Бестужевские курсы, и попала в отвратительные условия; в этом районе господствовал иной тип хозяек, беззастенчиво «промышлявших на счет студенческих желудков».

Чтобы встречаться друг с другом, надо было пешим порядком отмахать не одну версту, пользоваться конкой не позволял скромный бюджет. И все же встречались они тогда очень часто. Два раза в неделю, по средам и воскресеньям обязательно и на целый вечер, да еще в иные дни на лету — по какому-нибудь неотложному делу: вернуть прочитанную книгу, что-то сообщить, обменяться письмами, полученными из дому.

Если взять этот первый петербургский год в целом, Анне следовало по справедливости помянуть его добрым словом. Одна новизна самостоятельной жизни, да еще в столице, настраивала на мажорный лад, не давала «жить долго прошлым», а манеру эту Анна считала крупным недостатком своей натуры. Новые люди — преимущественно студенты, курсистки-бестужевки,— среди которых нетрудно было встретить душу, открытую для дружбы, и вообще вся энергичная, немного суматошная питерская студенческая жизнь властно вторгалась в ее внутренний мир, не оставляя места

вялости и унынию. Сверх всего была радость от ощущения особенной, никогда ранее не испытанной полноты душевной близости с братом. Эта полнота также явилась следствием жизни в Питере,— оторванность от семьи требовала компенсации. И позже — на втором, третьем году — их отношения ничем не омрачились.

Первое облачко набежало нынешней осенью, вскоре после того, как они, проведя лето в Симбирске, вернулись в Питер. Александр, неожиданно для Анны, решил, сняв две комнаты, поселиться с Чеботаревым, товарищем гимназических лет, только что окончившим Петербургский университет.

— Почему не со мной! — вырвалась у Анны острая обида.

Брат стал объяснять: у него теперь, что ни день, бывают университетские товарищи — по делам студенческого научно-литературного общества, Симбирского землячества. Кстати, и библиотеку землячества решено поместить в одной из комнат. Ей, Анне, лучше всего поселиться в его прошлогодней комнате, у хорошей, испытанной хозяйки, жить он будет неподалеку, квартира присмотрена на Александровском проспекте, и видеться они смогут часто.

Объяснения были ни к чему, Анна их толком даже не слышала, мысленно твердила одно: «Не хочет Саша со мной селиться». Не совладав с собой, крикнула: «Ты больше не любишь, не уважаешь меня!» Александр ответил: «Ты очень хорошо знаешь, что я тебя люблю и уважаю». Сказал, как всегда, спо-

койно, не повышая голоса, но в его словах Анна услышала глубокое огорчение, такую боль, что сделалось невыразимо стыдно.

И уже не требовались никакие другие слова, чтобы она поняла свою неправоту. С детских лет ей было знакомо редкостное прямодушие брата: он либо говорил, что думал, либо просто молчал, если по каким-то причинам не считал возможным высказать правду. И все-таки облачко не растаяло. А потом набежали и другие.

Живут они теперь — рукой подать, это верно, а видятся гораздо реже, чем раньше, когда приходилось мотаться между Съежинской и Сергиевской. Редко-редко выпадает удача застать его дома одного. С недавних пор особенно зачастили к нему однокурсники Говорухин и Шевырев. Неужели Саша не понимает, что ей хочется побыть с ним вдвоем? Но желания выпроводить их что-то не видно. Наоборот, удерживает, словно ее общество стало неинтересным или даже тягостным. Да хотя бы и нынешний день!

1884 год встречали вдвоем, у нее на Сергиевской. Конечно, гораздо более соблазнительной, признавалась Анна Ильинична впоследствии, была перспектива провести рождественские праздники в семейном кругу. Но брат решительно отказался ехать в Симбирск. «Для него это было баловством: надо было пользоваться всем, что давал Питер, достаточно было летних каникул. Да и деньги лишние тратить он был совсем не склонен».

И вот Анна после двух зимних поездок в Симбирск снова осталась в Петербурге. Быть

может, удержала надежда, что хоть новогодний-то вечер Саша отдаст ей. Он поступил иначе — обещал товарищам прийти на вечеринку. Так и получилось, что в канун 1887 года она одна-одинешенька коротала, как могла, этот черный день. Правда, вечером они все же свиделись, но мимолетная встреча только усугубила ее подавленность и тревогу.

«Брат,— писала Анна Ильинична,— отправляясь на новогоднюю вечеринку, зашел ко мне, но не один, а с Говорухиным. Они звали и меня — помнится, больше Говорухин, чем брат,— но я, вообще большая домоседка, была в своем настроении траура не расположена идти на веселье, да к тому же и публика там должна была, кажется, быть мало знакомая. Помня, что брат первый год нашей питерской жизни приходил ко мне встречать вместе Новый год (две следующие зимы я проводила праздники в Симбирске), зная, что он вообще не сторонник большого веселья, глядя, очевидно, чересчур сквозь призму своего настроения, я просила его остаться у меня. Но он стремился настойчиво, как ему не было свойственно в таких случаях, когда он видел причиняемое отказом серьезное огорчение, уйти на вечеринку. Даже когда Говорухин, вероятно разленившийся идти, к моему большому удивлению, вдруг тоже поддержал меня, предложив брату остаться, он не уступил. Я опять-таки, избалованная его чуткостью и внимательностью с детства, приписала это изменившемуся отношению ко мне. Конечно, оставшись одна, я горько проревела, чувствуя, как никог-

да, и потерю отца, и одиночество, и горе матери».

Само собой разумеется, Александр понимал, в каком состоянии осталась сестра. Но поступить иначе не мог. Причина была не в том, что он дал слово прийти на новогоднюю вечеринку, хотя еще с детских лет приучил себя, даже в мелочах, держаться данного им слова. У него имелась возможность сразу же отказаться от предложения товарищей. Он и ухватился за вечеринку ради того, чтобы избегнуть встречи Нового года вдвоем с Анной. При их душевной близости, годами выработанном умении понимать друг друга с полуслова и даже нередко читать в мыслях теперь такие встречи не приносили, да и не могли приносить былой радости. Анна тяготилась непривычной и непонятной замкнутостью брата, он — необходимостью таить от нее крутой поворот в собственной судьбе.

Но главное — эти встречи были для Анны опасны. Он понимал, что Анна ощутила в его жизни, которая всегда была перед ней как на ладони, с недавних пор нечто, ревностно оберегаемое от ее взгляда. Наконец, он сознавал, что сестра мучительно терялась в догадках, чаще всего винила себя и в себе искала причину отчуждения. При иных обстоятельствах было бы достаточно двух-трех слов, чтобы рассеять ее заблуждение и успокоить. Но мог ли он выдать свою и одновременно не ему одному принадлежащую тайну? А если б и выдал?.. Вряд ли смогла выстоять ее нервная натура, испытав этот неожиданный удар.

Было бы счастьем для них обоих, если б

Анна и в этом году уехала на рождественские каникулы в Симбирск. И матери легче было бы вместе с Анной пройти через скорбную годовщину. Но Анна ни за что не хотела уезжать, и он, движимый любовью к ней, невольно причиняя боль, обиду, вынужден был отгораживаться от сестры. Эту нравственную жертву, далеко не единственную и не самую тяжелую, потребовала его новая судьба. Любой исход задуманного покушения на царя — удачный, неудачный — почти неминуемо приведет его на эшафот. Это он знал, к этому был готов. И нельзя было допустить, насколько это было в его силах, чтобы Анна, как и другие близкие и непричастные к этому делу люди, пострадала.

Пришла, в частности, пора сказать Чеботареву, что надо разъезжаться. И это — нелегкое дело. Трех месяцев не прошло, как они поселились вместе. Жизнь наладилась быстро и хорошо, оба были довольны ею вполне. И вдруг — разъезжаться! Нет ничего удивительного, если и Чеботарев воспримет его решение обидчиво. Хуже того — сочтет легкомысленным и безответственным человеком. Но и ему, так же не подозревающему о заговоре, Александр не мог открыть истинных мотивов своего поступка. Одна надежда — Чеботарев умница, поймет, что это не каприз. Поймет, не станет допытываться и простит.

(Примерно так и вышло. «В первой половине января,— писал Чеботарев много лет спустя,— Александр Ильич сказал мне, что некоторые из посещающих его товарищей могут быть серьезно скомпрометированы и что

если я не хочу рисковать собой, то нам лучше всего разъехаться».)

В мемуарах современников, в иных литературных источниках нет ни слова о том, где Ульянов встречал 1887 год. Лишь Анна Ильинична неопределенно обмолвилась: «...публика там должна была, кажется, быть мало знакомая». Задумаемся все же над этой фразой. Прежде всего, она исключает из возможных мест новогодней встречи студенческие квартиры, где Александр бывал в последнее время особенно часто (например, удобную квартиру Сергея Никонова, одного из участников террористического заговора). Здесь собирались в узком товарищеском кругу, сюда, даже под Новый год, малознакомые люди не могли быть званы. Фраза Анны Ильиничны наводит на мысль, что вечеринка скорее всего устраивалась в доме, где брат, возможно, никогда не бывал, по крайней мере своим человеком не являлся. В ином случае и Анне он был бы близок, а это никак не вяжется с характером, тоном ее рассказа.

Возможно,— для этого есть кое-какие основания — брат и Говорухин звали Анну к Хренковым. Их квартиру студенческая молодежь посещала охотно, встречали ее здесь радушно. Анна у Хренковых не бывала, они в круг ее знакомых не входили. Ничто личное не связывало с ними и Александра, но дватри раза он заходил к ним по каким-то делам. Об этом мы знаем по воспоминаниям Валентины Иовны Дмитриевой, писательницы народнического толка, дружившей с молодой хозяйкой дома.

Именно здесь, в квартире Хренковых, она однажды, в конце 1886 года, встретила Александра Ульянова, и его «оригинальный образ» запечатлелся в памяти настолько ярко, что впоследствии послужил ей прототипом одного из героев романа «Червонный хутор». Характеризуя чету Хренковых, свивших свое гнездо в том же 1886 году, Дмитриева, в частности, писала, что у них «можно было встретить самую разношерстную публику, начиная от фельетониста бульварной газеты и кончая якутом, секретарем известного тибетского шарлатана Бадмаева». Поэтому всяк, кто появлялся у них, неизбежно оказывался среди людей малознакомых и незнакомых вовсе.

Пусть все сказанное о Хренковых и не придает нашему предположению силу достоверности. Гораздо важнее иное. Опираясь на воспоминания Дмитриевой и не погрешая против логики, мы, таким образом, получаем возможность увидеть Александра Ульянова в обстановке, существенной для его характеристики. Вообще, надо сказать, зоркий глаз писательницы, умение ярко живописать виденное делают несколько страничек, отведенных встрече с Ульяновым, интересным и ценным биографическим документом. Дмитриева оставила нам не только запоминающееся описание внешности, манеры поведения Александра, но и не без успеха попыталась заглянуть в его внутренний мир. Наконец, не менее важно и то, что, изображая царившую в доме Хренковых атмосферу, она тем самым в какой-то мере погружала читателя в обществен-

иую атмосферу тех лет, когда Ульянов учился в Петербургском университете.

Вот зарисовки четы Хренковых:

«Оба они были сибиряки, но совершенно разные по характеру люди. Хренков — последователь и поклонник Владимира Соловьева (философа-идеалиста, богослова, поэта-символиста.— *В. С.)*, непротивленец с полумистическим уклоном; его жена — Софья Германовна, урожденная Гопфенгауз — прирожденная бунтарка, с горячим боевым темпераментом, остроумная, решительная и скорая в своих действиях. Однажды, не задумываясь, в морозную ночь она сняла с себя теплую кофточку и отдала ее нищей с ребенком».

Хренков — по характеру человек мягкий и добрый — отвергал террор, с осуждением относился к деятельности «Народной воли», будучи убежден, что она «только и привела к взаимному ожесточению и кровопролитию, а затем к черной реакции Александра III. «Прощение выше мести»,— часто любил он повторять слова Ариэля из «Бури» Шекспира. Хренкова, по словам Дмитриевой, «насквозь была пропитана революционным духом». Добавим от себя, тут нет ни малейшего преувеличения. Вся ее последующая жизнь и трагическая смерть, ускользнувшая, по-видимому, из поля зрения писательницы, свидетельствуют об этом.

Разговоры и ожесточенные споры на политические темы здесь велись неумолчно. И какие только мнения не высказывались!

Однако, как ни пестры были политические настроения и взгляды людей, сходившихся в

этом доме, ожесточенность споров чаще всего отражала не крайность позиций, а оттенки все той же политической разочарованности, знаменовала крушение веры в бомбу, долженствовавшую, по мысли многих активных революционеров, не только лишить жизни царя, но и вызвать вооруженное восстание, инсуррекцию, как часто, на иностранный манер, выражались деятели «Народной воли», казнившие Александра II. И тем, кто и после воцарения Александра III, продолжал считать революционный террор необходимым, результативным средством борьбы с царизмом, ни к чему было ввязываться в «ожесточенные» споры под гостеприимной кровлей Хренковых. Дмитриева отчетливо это показала в рассказе о самой встрече с Александром Ульяновым.

Надеемся, читатель не посетует на нас, если мы приведем этот отрывок без купюр,— книга ее за сорок истекших лет стала, можно сказать, библиографической редкостью.

«И вот, однажды зайдя к ним,— писала Дмитриева,— я увидела незнакомого юношу-студента. Встретить там незнакомое лицо было явлением обычным: много их перебывало у Хренковых, но этот юноша почему-то особенно привлек мое внимание. Смугловато-бледный, с большим лбом, нахмуренными бровями и крепко сжатым ртом, он сидел в уголке, молчал и исподлобья поглядывал на присутствующих. По-видимому, он внимательно прислушивался к разговору, но во всей его фигуре, в выражении лица, в этих напряженно сдвинутых бровях было что-то такое само-

углубленное, сосредоточенное, чуждое всему окружающему, что казалось, будто мысль его не здесь, что им владеет какая-то своя, особая, страшно важная и захватывающая идея. Я тоже не принадлежу к числу разговорчивых, особенно в большом обществе, поэтому, забившись в другой угол, занялась наблюдением и исключительно сосредоточила свое внимание на незнакомом студенте. А он ничего не замечал, думал свою думу, вряд ли меня и видел.

В это время вокруг Хренкова разгорелся обычный спор о том, что делать. Не помню, кто-то заговорил о том, что террор после неудачи акта 1 марта (т. е. несбывшихся надежд на коренные общественные преобразования в результате цареубийства.— *В. С.*) доказал свою полную несостоятельность и что теперь нужно перейти к другим методам борьбы с реакцией. С подпольщиной нужно покончить навсегда, и все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить, бороться с невежеством народным не бомбами, а книгой... Поднялся шум; слышались отдельные слова: «Революция... Эволюция... Статистика страшнее динамита... Агрономия — вот главная задача...» А Хренков неторопливо и проникновенно пытался усмирить эту бурю мнений своими полумистическими изречениями:

— Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших... Ибо зло питается злом...

И вдруг молчаливый студент точно проснулся. На смуглых щеках его проступил лег-

кий румянец, изломанные хмурые брови приподнялись, в глазах и на губах заиграла насмешливая улыбка. В первый раз он взглянул на меня и сказал как бы про себя, ни к кому особенно не обращаясь:

— Чудаки! Корочкой хлебца хотят человечество осчастливить...

Я не успела ничего ответить, да и не знала, со мной ли он говорит. К нему подошел Хренков.

— Вы что-то сказали, коллега?

— Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу — вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

— А, по-вашему, что же нужно? — с оттенком снисходительности — у него была такая манера — сказал Хренков.

Не знаю, тон ли этот не понравился студенту или он вообще не хотел говорить в незнакомом обществе, но он весь как-то сжался, снова нахмурился и встал.

— Это, знаете ли, длинная история... а мне пора уходить. В другой раз когда-нибудь...— Он мешковато сунул руку Хренкову и мне, отошел к Софье Германовне и, обменявшись с ней несколькими словами, исчез.

Но его оригинальный образ запечатлелся в моей памяти, и через несколько дней я спросила Софью Германовну, кто такой этот сумрачный студент с трагическими глазами.

— А это Ульянов. Я его сама мало знаю, он по делу приходил».

Разумеется, атмосферу дома Хренковых, со всей его толчеей разнокалиберных людей,

с пестротой мнений, хаотичностью споров, нельзя принимать за микроскопическую копию общественной жизни России того времени. (У нас еще явится возможность пристальнее вглядеться в эту эпоху.) Но в зарисовках Дмитриевой, пусть неполно, кое в чем однобоко, отразились две ее существенные черты. Во-первых, апатия, охватившая значительную часть интеллигенции, еще вчера готовую аплодировать народовольцам,— апатия, вызванная политической безрезультатностью цареубийства и крайней реакционностью нового царствования. Во-вторых, идейный разброд в само́м революционном стане, мучительные колебания в выборе дальнейшего пути. По выражению В. И. Ленина, «революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации».

Молодой революционной поросли, к которой принадлежал Александр Ульянов, приходилось самостоятельно определять свою позицию. В конце 1886 года он пришел к твердому решению стать на путь террористической борьбы, а с января следующего года считал себя формально принадлежащим к террористической группе, куда кроме него входили на первых же порах студенты Шевырев, Лукашевич, Никонов, Говорухин.

31 декабря на стол директора департамента полиции П. Н. Дурново был положен рапорт начальника Петербургского охранного отделения, к которому прилагался «добытый негласным путем печатный устав студенческого научно-литературного общества».

В рапорте перечислялись и с чисто жандармской дотошностью «освещались» все лица, стоявшие во главе общества:

«1. Председатель — профессор университета, действительный статский советник Орест Федорович *Миллер*, 54 лет, холост, проживает по 3 линии, д. 18, кв. 16, при нем живут его родственники: студент С.-Петербургского университета Фридрих Фридрихович *Майдель*, 20 лет, и воспитанник 2 кадетского корпуса Сергей Владимирович *Бурмейстер*, 17 лет.

2. Товарищ председателя — профессор университета, действительный статский советник Николай Львович *Дювернуа*, 46 лет, проживает по 4 линии, д. № 7, кв. 30, с своей женой, урожденной австрийской подданной Анной Иосифовною *Кроль*, и незаконнорожденным сыном от нее Николаем, 8 лет».

И так далее, в том же жандармско-полицейском стиле...

Об Ульянове, секретаре научно-литературного общества, в рапорте сообщалось особенно подробно:

«...Александр Ильич *Ульянов*, 20 лет... проживает по Александровскому проспекту в д. № 21, кв. 2, вместе с кандидатом университета, причисленным ныне к департаменту земледелия и сельской промышленности министерства государственных имуществ Иваном Николаевым *Чеботаревым*, 25 лет. Ульянов имеет мать, двух сестер и двух братьев, проживающих в г. Симбирске, и сестру Анну, 23 лет, состоящую слушательницей Высших женских курсов.

Из знакомых *Ульянова* можно указать на студентов Военно-медицинской академии Василия Михайлова *Бурлакова*, известного департаменту полиции, университета Сергея Семенова *Мельникова* и Сергея Павлова *Феократова*, братьев Семена и Арсения Илларионовых *Хлебниковых*, акушерку Ревекку Абрамовну *Шмидову* и дочь священника Раису Иванову *Калайтан*. Политическая благонадежность знакомых *Ульянова*, равно и его самого, весьма сомнительна, так как все они принадлежат к кружку «кубанцев и донцов»».

Рапорт кончался следующими строками:

«Из поименованных выше лиц (имелись в виду лица, возглавлявшие научно-литературное общество.— *В. С.*) один *Ульянов* и отчасти *Сыромятников* являются личностями в политическом отношении неблагонадежными.

Хотя на основании § 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но тем не менее предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно, если принять во внимание, что такая личность, как *Ульянов*, играет в том обществе выдающуюся роль секретаря».

Это пристальное внимание петербургской охранки к Ульянову, агентурное наблюдение за его квартирой, за людьми, посещавшими ее, возникло еще в октябре — рапорт являлся отчетом об исполнении поручения, которое департамент полиции возложил на Петербургское охранное отделение своим «отношением за № 2655/604», датированным 31 октября. Но во второй половине ноября, после

студенческой демонстрации у ворот Волкова кладбища, слежка резко усилилась. И пошла писать губерния!

Начальник охранки подполковник Секеринский доносил утром 17 ноября департаменту: «Получено мною сведение, что сего числа, в час дня, предполагается общестуденческая панихида на могиле Добролюбова... По сведениям, соберется до 1000 человек, причем собирающиеся предполагают после панихиды произвести демонстрацию».

«Сего числа,— обращался в письме к Дурново петербургский градоначальник генерал-лейтенант Грессер,— учащаяся молодежь обоего пола высших учебных заведений столицы намерена была произвести, под предлогом чествования 25-летней годовщины смерти литератора Добролюбова, демонстрацию на Волковом кладбище, подробности о которой мной доложены вашему превосходительству в особой записке». Грессер предлагал, войдя «в сношение с подлежащими министерствами, в ведении коих состоят высшие учебные заведения», принять меры «к воспрепятствованию молодежи этой фигурировать в подобных демонстрациях».

18 декабря Дурново обратился к Грессеру: «Ввиду полученных сведений о сношениях... Александра Ильина Ульянова с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова, департамент полиции имеет честь просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собрании подробных сведений о деятельности и круге знакомых студента Ульяно-

ва и о последующем не оставлять вашими уведомлениями».

И Грессер, конечно, «не оставлял». В частности, его подробная записка об Ульянове, круге знакомых, о кружке «кубанцев и донцов», о студенческой столовой этого кружка, как месте конспиративных встреч, помеченная 2 января 1887 года, кончалась следующим абзацем:

«Ввиду того, что большинство знакомых Ульянова суть лица, скомпрометированные в политическом отношении, он сам также должен быть признан за такое лицо.

Кроме того, Ульянов с сестрою своею и сожителем по квартире Иваном Николаевичем Чеботаревым является организатором малороссийского кружка, сведения о коем собираются по записке департамента полиции от 22 декабря 1886 года за № 138/762».

Насколько энергично и успешно шныряли в студенческой среде шпики охранки, можно судить из донесения подполковника Секеринского. Буквально через несколько дней после решения группы Ульянова выпустить прокламации о репрессиях, связанных с «добролюбовской демонстрацией», он сообщил в департамент: «Дознано мной агентурным путем, что... 18 ноября по этому поводу происходила сходка студентов, на которой было решено издать прокламации двух родов: « к студенчеству» и «к русскому обществу»; из них первого рода прокламации предположено распространять среди знакомых и товарищей, а вторые — опускать в ящики, устроенные во входных дверях частных квартир». Здесь все,

до мельчайших деталей, соответствовало решениям, принятым на квартире у Александра.

Вспоминая это время, Чеботарев писал: «...Мы видели, что слежка за нашей квартирой усилилась. Шмыгали агенты тайной и явной полиции, дворник постоянно изыскивал повод войти в квартиру. И тем не менее это мало беспокоило Александра Ильича».

Нетрудно понять, почему не выражал беспокойства сам Чеботарев. Он не был связан с заговорщической деятельностью Ульянова, даже не знал о ней. Впоследствии, на суде, где он присутствовал в качестве свидетеля, да и то вызванного не следственными властями, а подсудимым, Ульяновым, к нему никаких претензий не предъявлялось. Но Александр Ильич, он-то почему мало беспокоился? Может быть, потому, что до конца декабря в его действиях еще не было фактически ничего такого, за что полагалось отвечать по всей строгости неумолимых законов Российской империи?

Как бы то ни было, в канун Нового года жандармско-полицейская грозовая туча сильно сгустилась и низко нависла над его головой.

МАЛЫЕ ПРИЧИНЫ — БОЛЬШИЕ СЛЕДСТВИЯ

Сергей Никонов, вспоминая спустя сорок лет студенческие годы, писал:

«Идея цареубийства в это время, так сказать, носилась в воздухе. До того сперлась политическая атмосфера, до того чувствовался гнет реакционной политики правительства Александра III, что очень многие задавали себе вопрос: неужели не найдется людей, которые взяли бы на себя устранить грубого деспота?»

Никонов не преувеличивал — идея цареубийства носилась в воздухе. Михаил Степанович Ольминский, один из старейших большевиков, в разговоре с Анной Ильиничной, который состоялся уже после Октябрьской революции, высказал ту же мысль, характеризуя настроения революционной молодежи в середине восьмидесятых годов. Он и сам, тогда народоволец — кстати сказать, поступивший в Петербургский университет одновременно с Ульяновым — подумывал о террористическом акте. И тем не менее слухи о неудавшемся покушении на Александра III, мгновенно распространившиеся после ареста

Ульянова и всех остальных участников террористической группы, ошеломили петербургское студенчество как гром среди чистого неба. Особенно слух, будто в числе арестованных — Ульянов. Кое-кто просто счел его за вздор. Иные склонны были объяснить недоразумением, на худой конец — роковой случайностью, поставившей Ульянова в глазах властей лицом, как бы причастным к преступному замыслу.

Другой реакции и быть не могло среди широкого круга студентов, знавших Ульянова по совместному слушанию лекций, по работе в студенческом научно-литературном обществе. В этой среде он был известен и уважаем как выдающийся своими способностями и знаниями студент-естественник, прямо-таки влюбленный в избранную область науки и поглощенный ею целиком.

А его успехи в занятиях по зоологии, год назад увенчанные университетской золотой медалью за конкурсную работу о кольчатых червях? А слух, что его решено оставить при университете для подготовки к профессорскому званию? Вот в этом слухе никто не сомневался.

Наконец, его видели до самого последнего дня на лекциях, которые Ульянов посещал, как всегда, аккуратнейшим образом, видели работающим — с обычной для него, а в общем-то редкой усидчивостью — в зоологическом кабинете, где он продолжал потрошить кольчатых червей, принесших ему золотую награду... Какой уж тут террористический заговор?!

Но и в более узком кругу, среди товарищей, хорошо знавших Александра по работе в Симбирском студенческом землячестве, в центральном кружке объединенного союза землячеств, в экономическом кружке «саморазвития»,— среди тех, кто вместе с ним изучал не только последнее слово философии, политической экономии, истории, но и обсуждал жгучие вопросы политической жизни России,— и в этом более узком кругу весть об участии Александра в террористическом заговоре также вызвала что-то вроде столбняка... Впрочем, некоторые из его товарищей, принадлежавших именно к этому кругу, много позже, в своих воспоминаниях, отмечали печать смерти, которую они якобы разглядели на лице Ульянова незадолго до неудачного покушения.

«Чтобы не замешать нас, Ульянов заранее вышел из кружка,— писал в 1908 году В. Бартенев, один из участников экономического кружка.— Как-то случайно он зашел на одно заседание за две недели до 1 марта. Быть может, зашел взглянуть на нас в последний раз и мысленно проститься с нами. Вид его тогда поразил многих. Он весь вечер просидел молча, задумчиво глядя своими большими темными глазами. Я очень живо помню его лицо: матовой белизны, немного широкоскулое, всегда спокойное и серьезное, шапка черных, слегка вьющихся волос на голове. Но в этот вечер его лицо было точно освещено каким-то внутренним светом и казалось преображенным. И не я один обратил на это внимание: многие из нас, после того как

его арестовали, вспоминали о выражении его лица — лица человека, обрекшего себя на смерть».

Однако это предвосхищение задним числом — неумышленное, конечно — явно расходится с воспоминаниями тех, кто был очень близок к Александру, близок повседневно. Достаточно назвать Чеботарева. Последний даже после того, как Александр предложил разъехаться, ни по внешнему виду, ни по манере поведения своего друга не предугадывал надвигающейся трагедии. Кстати, не сказалось ли это «предвосхищение» и на портрете, нарисованном Дмитриевой,— «сумрачный студент с трагическими глазами» и прочее? Лишь тогда, когда Александра заставали одного и врасплох, могла явиться такая мысль. Например, у будущего шлиссельбуржца Михаила Новорусского, который как-то зашел к Ульянову, не постучался по рассеянности в дверь его комнаты и стал «минутным свидетелем роковой борьбы в душе Александра Ильича».

Новорусский писал: «Лицо его, обыкновенно спокойное и приветливое, было необычайно тревожно и грустно. Он медленно поднял голову, услыхавши мои шаги, и было видно, что я оторвал его как бы от тягостного сна, от которого он с трудом очнулся... Я чутьем понял, что он только что решал для себя тяжелые вопросы — может быть, вопрос жизни и смерти,— и невольный вопрос: «что с ним?» — у меня замер на устах».

В том-то и дело, что Александр оставался до последней минуты непроницаемым для

всех, кто не был посвящен в террористический замысел. Тут сказывалась его редкостная выдержка, железная самодисциплина.

Даже Анна проглядела превращение студента, всеми помыслами отдавшегося науке, в революционера-террориста. А ведь она была все время рядышком с братом. И в тот момент, когда эта метаморфоза совершалась, настойчиво задумывалась над переменой в их отношениях, над отчуждением, которое приносило ей столько горестных переживаний. По ее собственному признанию, не раз она оказывалась у самого порога тайны, но так и не сумела переступить его. Даже после ареста брата,— подумать только! — будучи и сама арестована в тот же день, она все еще блуждала в потемках.

«Я была отвезена в охранное отделение на Гороховую улицу, а через сутки — в дом предварительного заключения. По дороге пристав, ехавший со мной на извозчике, сообщил мне, сокрушаясь об участи молодежи, что вот-де студент Генералов бросил бомбу в государя, и за это теперь берут его знакомых, много невинных. Меня охватил ужас: Генералов! Он был знаком с Сашей, я встретила его там раз. Как отразится это на Саше?!

Я подумала сначала лишь об опасности знакомства. Только постепенно, в одиночестве, напряженно разматывая в своем мозгу клубок минувших событий, встреч, разговоров, всего неясного для меня в поведении Саши, я стала понимать с ужасом, леденившим мне душу, что тут дело не в одном знакомстве, а в активном участии. Первый же допрос

утвердил меня в этом мнении, доказав многое».

И только тогда открылась ей истинная причина нежелания Саши встречать Новый год с ней вдвоем:

«Уже в тюрьме, продумывая подробно все поведение брата за последнее время, я поняла, что при состоявшемся решении принять участие в террористическом акте — что скрывалось от меня — ему, такому правдивому, что он мог только уклониться от ответа, а не солгать, так глубоко любящему мать и семью, что он должен был очень болезненно переживать подготовляемое ей горе, было просто невмоготу остаться в этот вечер со мною, с мыслями о семье».

Читая эти откровенные признания, испытываешь невольное изумление. С детских лет Анна в дружбе, в тесном общении с братом. Его внутренний мир всегда был распахнут перед нею. Трехлетняя жизнь в Петербурге, вдали от семьи, сделала их духовную близость еще более глубокой. Но вот в три последних месяца — декабрь, январь, февраль (в марте они были арестованы)—что-то непонятное, тревожное глухой стеной встает между ними. Анна силится разрушить ее, ищет хотя бы щелочку, чтобы разглядеть, что же там, за стеной? Не раз — чувствует она — обстоятельства ставят ее вплотную к цели. Еще одно усилие — мучительная догадка разъяснится. Но нет, не удается! Какое-то наваждение, какая-то внезапная потеря умственного зрения делают бесплодными все ее попытки. Откуда она, слепота?

Примем во внимание обычную для Александра спокойную манеру поведения, его систематическую, как всегда, многочасовую работу в зоологическом кабинете, короче — все, что, казалось бы, говорило о неизменности устоявшегося за три года в Питере образа жизни и круга умственных интересов. Учтем и то, что Анна Ильинична тогда, еще не «отведав тюремной баланды» и вообще не успев сделать первого шага на своем революционном пути, была, по ее выражению, «совершенно неискушенным в конспиративных делах дичком». Но эти и иные, им подобные, обстоятельства не приводят нас к удовлетворительному объяснению умственной слепоты, поразившей Анну в тот момент, когда брат круто менял жизненную дорогу. Они могли лишь усиливать действия какой-то глубокой причины, мешавшей сорвать «завесу над происходящим». И такая причина была.

Мы ее обнаружим, если вспомним откровения пристава, сопровождавшего Анну из охранки в Дом предварительного заключения. Даже они не вызывают у Анны мысли о том, что брат арестован как участник покушения на царя,— мысли естественной, явно напрашивающейся в такой ситуации и сразу же, как яркая вспышка, освещающей все непонятное в его поведении. В том-то и дело, что для Анны она была противоестественной, говоря попросту, не могла прийти в голову. Все, что знала Анна о Саше,— а она знала решительно все: и круг умственных интересов, и суть его взглядов на окружающую жизнь, и счастливо найденную еще в ранней юности жизненную

цель, и нравственные принципы, установленные им для себя, и свойства недюжинного характера,— все, все неодолимо препятствовало появлению у нее догадки о причастности Александра к террору.

Правда, под влиянием некоторых непонятных обстоятельств у нее возникали тревожные предположения — не скрывает ли Саша от нее какую-то конспиративную деятельность, за которую может серьезно поплатиться. Был, например, случай — брат предупредил, что для него на ее адрес из Вильно может прийти телеграмма. Получив ее, Анна справедливо рассудила, что текст телеграммы условный, тайный. Что ж, Анна и сама однажды прикоснулась к делу конспиративного свойства — помогала в распространении противоправительственной листовки, написанной братом после разгона студенческой демонстрации у Волкова кладбища. Вполне допустимо, что Саша снова вовлечен в подобную деятельность. Но террор?..

Если бы некий внутренний голос вдруг шепнул это слово, Анна, не задумываясь, ответила бы: «Нет, нет!» (Кстати, разве не подтверждается это ее собственной фразой: «Да и очень уж далека была я, как и другие, непосвященные товарищи Саши, от мысли о том, что готовится террористический акт»?) Другого ответа и быть не могло, потому что — повторим еще раз — ему воспротивилось бы все, что она знала о брате, что, по ее справедливому суждению, составляло существо, натуру Александра.

Революционный террор целиком поглощает человека, становится всеохватывающим делом его жизни, отрешая от всего с ним не связанного. Каким бы дичком в конспиративных делах ни являлась Анна в то время, это она понимала. Разве не такова многолетняя подвижническая участь террористов-народовольцев, казнивших Александра II? У брата было иное дело всей его жизни. Дело не только рано найденное, но и найденное счастливо, безошибочно. Он словно родился для него, и оно никогда ничем не заслонялось. С годами страстная любовь к науке лишь разгоралась, укрепляя в правильности избранной жизненной цели. И вот все это, как карточный домик, рушится в один миг? Немыслимо!.. И как это противоречит всему характеру Саши!

Действительно, в натуре Александра — с ее высокой интеллектуальностью, строгой логикой мышления, с несгибаемой волей — чувства, эмоциональные порывы, как бы они сильны ни были, никогда не брали верха над рассудком. Именно отсюда шло его внешнее спокойствие, ровное при любых обстоятельствах обращение с окружающими, терпеливость и хладнокровие в самом яростном студенческом споре. Этим же объяснялась обдуманность каждого шага в жизни, тем более — шага решительного.

Нельзя и думать, возразила бы Анна внутреннему голосу, чтобы такой перелом в жизни Саши, если бы и нашлись к тому веские причины, назрел и совершился столь скоропалительно, в какие-нибудь полтора — два месяца. Наконец, прибегла бы Анна к самому

сильному для нее аргументу, от этого шага удержала бы брата любовь к матери — любовь внешне сдержанная, как и все проявления его чувств, но в глубине души трепетная, нежная и заботливая. Мог ли он нанести ей, еще не оправившейся от недавней тяжелой утраты, новый удар, который скорее всего оказался бы для нее гибельным? К тому же смерть отца накладывала на Сашу обязательства по отношению ко всей семье. Ему выпала доля стать, и как можно скорей, главной опорой отчего дома.

Возможно, читатель испытывает недоумение. Зачем понадобилось автору рассказывать, да еще так подробно, об удивительной недогадливости Анны, а потом не менее подробно объяснять и оправдывать, придумывая воображаемый диалог с «неким внутренним голосом»? Очерк-то все-таки об Александре?

Прежде всего — о придуманности. При внимательном и вдумчивом чтении книги Анны Ильиничны об Александре все аргументы Анны, нами перечисленные, все до единого, можно в ней, книге, найти. Они лишь выражены иными словами и разбросаны по разным страницам. Приведем лишь один пример.

Анна, получив от одного из сослуживцев покойного отца письмо, в котором говорилось о матери, дала прочитать его брату. Дальнейшее выписываем из книги:

«Он писал, что за самое последнее время она стала спокойнее и бодрее, между тем как дни, связанные с годовщиной смерти отца, переживались ею очень тяжело.

Подперев голову обеими руками, Саша долго-долго смотрел на эти строки, смотрел так, точно вся душа его сосредоточилась на них... Мне стало больно за его переживания, за этот скорбный, точно ушедший в себя взгляд, но в то же время я сказала себе: «Хорошо, что я показала ему это письмо: он так болеет душой за маму, он будет осторожней для нее». Лишнее доказательство того, что никто не может выйти из своей натуры, а соответственно ей переживает окружающее: я не могла себе представить, чтобы глубокая и серьезная дума о горячо любимой матери, о ее горе могла сочетаться с такой решимостью, с такой деятельностью, которая должна была нанести страшный удар матери... и чтобы можно было сохранить спокойствие при этом».

Теперь — о подробности, с какой автор пишет о недогадливости Анны, о споре с внутренним голосом.

Александр Ильич рассказывал на суде об «умственном процессе», который привел его к террору. Однако личные мотивы, то есть причины, толкнувшие именно его, Александра Ильича Ульянова, на дорогу террористической борьбы, в этой речи были им сознательно обойдены. Равным образом не писал об этом с его слов ни один из авторов воспоминаний. Между тем автор этого очерка более всего озабочен задачей — рассказать читателю о том психологическом процессе, в результате которого всепоглощавшая в жизни Ульянова страсть к науке сменилась все поглотившей, в том числе и самое жизнь, терро-

ристнческой деятельностью. Если же ои, автор, при этом решительно сторонился всякой вольиой фаитазин, где ему было искать почву достовериости? Лучше, чем воспомииаиия Аииы Ильиничны, не найти. Ее мысли о решеиии Александра пожертвовать собой ради цареубийства, сведенные воедино и изложеиные в форме разговора с воображаемым голосом, и послужат нам иадежной осиовой для того, чтобы попытаться рекоиструировать, как говорят в подобиых случаях люди науки, то есть восстановить в былой подлиииости иитересующий нас психологический процесс.

Анна Ильиничиа, как и другие авторы воспоминаиий об Ульянове, справедливо считала добролюбовскую демонстрацию с ее последствиями иепосредствеииой причиной, толкиувшей его иа террор.

Нет необходимости подробио описывать все перипетии этой яркой демоистрации свободолюбивых настроений, проявившейся в студенческой массе числом более тысячи человек, представлявших почти все высшие учебиые заведеиия столицы. Для иашей цели важио отметить общее иастроение, боевой дух демоистрантов, особенно настроеиие Александра Ульяиова.

Иинциатором демоистрации, по свидетельству Никонова, был экоиомический кружок. В иачале года студеитам удалось оргаиизовать демонстрацию, приурочеииую к двадцатипятилетию «освобождеиия» крестьян. Полиция ее проморгала. Ободрениые таким успехом, студеические оргаиизации живо откликнулись иа призыв экоиомического кружка

провести демонстрацию в день двадцатипятилетия со дня смерти Добролюбова. Подготовка велась открыто, но в объявлениях о сборе на Волковом кладбище говорилось лишь о панихиде и возложении венков на могилу знаменитого критика.

17 ноября, около полудня, когда демонстранты заполнили пустырь перед Волковом кладбищем, они обнаружили, что его ворота на замке, а решетка ограды защищена большим отрядом полиции во главе с полицмейстером, который объявил о запрещении панихиды. Ответом были негодующие выкрики, начались даже отдельные стычки между полицейскими и студентами.

Атмосфера быстро накалялась. Полицмейстер, опасаясь более серьезных эксцессов, пошел на уступку — дал возможность небольшой группе студентов пройти за ворота и возложить венки на могилу. Как-никак, а это была победа, хоть и маленькая, и демонстранты, немного помитинговав, решили не расходиться, а направиться в центр столицы, к Казанскому собору, где десять лет назад состоялась знаменитая демонстрация студентов и рабочих, организованная «Землей и волей». Дело принимало такой оборот, что могло кончиться кровопролитием, хотя сами демонстранты шли спокойно, организованно.

Дальнейшее передадим словами М. Брагинского, в воспоминаниях которого Александр занимает центральное место:

«Ульянов... явился одним из деятельных организаторов этой демонстрации и одним из самых энергичных ее участников. Мне никогда

не приходилось наблюдать Ульянова в таком состоянии... В продолжение всей демонстрации — а она длилась с утра до поздних сумерек — Ульянов был в сильно приподнятом настроении... Его настроение достигло крайней ступени возбуждения, когда огромная толпа демонстрантов, с революционными песнями подвигавшихся к Казанской площади... была остановлена цепью конных казаков, преградившей ей путь на Лиговке, не доходя до Николаевского вокзала, и когда вскоре затем перед демонстрантами появился градоначальник генерал Грессер. Я находился в этот момент вблизи Ульянова, шедшего все время под руку с своею сестрой, Анной Ильиничной, и положительно заражавшего всех своим боевым настроением, бурно проявившимся, как только он увидел приближавшегося к нам градоначальника. Точно электрическим током всего пронизало его при виде ненавистной фигуры Грессера... С побледневшим лицом, с загоревшимися гневом глазами, Ульянов с криком «вперед!», увлекая за собой других и пролагая себе путь сквозь гущу демонстрантов, устремился навстречу к подходившему к нам градоначальнику, точно собираясь уничтожить его тут же на месте. В ту же минуту и вся огромная толпа демонстрантов, охваченная необыкновенным волнением, пришла в движение и с криками «вон!», «долой!» ринулась на градоначальника и чуть не сбила его с ног. Растерявшийся генерал, крича: «Господа, это насилие!», поспешил отступить и, сев в ожидавшие его сани, быстро умчался назад».

Анна Ильинична также отмечала крайнее волнение, охватившее брата, когда демонстранты были окружены казаками с шашками наголо и стал вопрос — что же теперь делать?

«— Идти вперед! — сказал брат, и его нахмуренное лицо приняло выражение какой-то железной решимости, жутью прошедшей по моим жилам. Насилие страшно возмутило его».

Демонстрантов выпускали из оцепления маленькими группами, однако часть из них была задержана и отведена в полицейский участок, находившийся в двух шагах.

Вечером на квартире Ульянова собрались близкие товарищи, делились впечатлениями, тревожились о тех, кто был арестован, ждали дальнейших арестов. Настроение было озабоченное, подавленное. Но когда явились несколько человек из числа уведенных в кутузку и сообщили, что выпустили в конце концов всех, народ повеселел. Принялись вспоминать, и больше в тоне веселой шутки, отдельные эпизоды этого бурного дня. «Так,— писала Анна Ильинична,— рассказывали при общем большом одобрении об ответе, данном Грессеру одним остроумным парнем из арестованных, а именно, когда при нем, сидящем в участке, туда вошел Грессер и заявил, ни к кому не обращаясь: «Ух, умаялся!», то этот студент заметил подчеркнуто почтительным тоном: «Да, ваше превосходительство, должность незавидная»».

Наутро радостное чувство победы сменилось нешуточной тревогой, вызванной репрессиями — обысками, арестами, высылкой

некоторых участников демонстрации. Около сорока человек высылалось из Петербурга в различные места под надзор полиции. И тогда, на совещании, происходившем также в квартире Ульянова и Чеботарева, было решено напечатать на гектографе листовку с протестом против действий властей. Текст ее взялся писать Александр Ильич.

Озаглавленная «17 ноября в Петербурге», она в спокойных, эпических тонах, подробно излагала все события этого дня, указывала на мирные цели студентов, желавших «только воспользоваться своим правом — служить панихиду по тем лицам, которых мы признавали своими учителями, которые завещали нам бороться с неправдой и злом русской жизни». В листовке говорилось об издевательских действиях Грессера, заставившего демонстрантов несколько часов стоять под дождем, в лужах, о последующих репрессиях и делался вывод, что не из опасения беспорядков были пущены в ход полицейские и казаки — мирный характер манифестации не вызвал сомнений,— правительство, очевидно, было «против самого факта чествования Добролюбова».

«У нас на памяти немало других таких же фактов,— говорилось далее,— где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества». Один из последних абзацев листовки гласил: «Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных, литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация



Семья Ульяновых. 1879 г



Саша и Аня Ульяновы. 1870 г.

Симбирск. Дом на Московской улице, в котором жила семья Ульяновых с 1878 по 1887 г. (вид со двора)

Комната
Александра Ильича



«Мы пойдем
другим путем»
Художник П. Белоусов

Дело студента Петербургского университета А. И. Ульянова

№

ДѢЛО

ИМПЕРАТОРСКАГО

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Студента Александра Ильича Ульянова

1883



Александр Ильич Ульянов. 1887 г. (снимок охранки)

правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17-ое ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы».

Заканчивалась листовка энергичным заявлением: «Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности».

Обвинитель на процессе Ульянова и его товарищей, оберпрокурор Правительствующего сената Неклюдов, пытался в своей речи истолковать последние строки листовки как неприкрытую угрозу террором. С юридической точки зрения это являлось грубой подтасовкой, подлогом, потому что в предшествовавшем абзаце ясно говорилось об «организованной силе» в смысле общественных действий, подобных добролюбовской демонстрации. Но, быть может,— об этом следует задуматься — для самого автора листовки ее заключительная фраза и стала тем «толчком», который «подвинул его на террор».

Подкрепляя свое мнение о влиянии добролюбовской демонстрации на судьбу брата, Анна Ильинична писала:

«В наше время может показаться диким по несоответствию: разогнанная студенческая

демонстрация толкает на самоубийство, на террор. Нам трудно перенестись за 40 лет назад, в психологию того «проклятого богом», по выражению Якубовича (поэта-народовольца, сосланного на каторгу.— *В. С.*), поколения восьмидесятых годов. Но прежде всего неверно, чтобы это была студенческая демонстрация. Не студенческие, а общеполитические мотивы вызывали ее... А что касается несоответствия причины со следствием, то надо только не забывать известной аллегории о последней капле, которая переполняет всякую, далеко не мелкую только чашу».

Мысль Анны Ильиничны ясна. Но, быть может, для глубокого проникновения в сущность переворота, произведенного добролюбовской демонстрацией в сознании Александра, более пригодна иная аллегория.

В годы ранней юности Александра наука, закладывая основы учения об энергии, руководилась принципом, что причина всегда равна следствию. При этом она, естественно, должна была объяснить процессы, в которых «малые причины порождали большие следствия». (Именно этими словами они тогда и характеризовались.) В одной из популярных книг того времени в качестве иллюстрации приводилась снежная лавина — процесс, производящий катастрофические опустошения, но возникающий от малых, ничтожно малых причин, например от взмаха крыльев птицы, низко пролетающей над гигантским напластованием снега уже созревшей лавины. В наш просвещенный, атомный век кто не знает о лавинообразных процессах, о так называемых цеп-

ных реакциях, когда «малая причина» — например, деление одного атомного ядра — порождает катастрофически большие следствия? Именно таков — по скоротечности, по всеобъемлемости результатов — и был «умственный процесс», упомянутый на суде самим Ульяновым.

Быть может, «взмахом крыльев» и явилась для него последняя фраза листовки об «организованной силе», которую общество противопоставит «грубой силе» правительства. Написав эту фразу, он, при его характере и складе ума, несомненно, задался вопросом: «А что под этим следует понимать?» И мысли его покатились в сторону террора.

Толчок добролюбовской демонстрации, несомненно, привел в движение напластованные за три года жизни в Петербурге впечатления. Ведь это был город, где всё и на каждом шагу кричало, по выражению Ленина, о «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции» царствования Александра III.

Не случайно в листовке было упомянуто о похоронах Тургенева, «на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые». После революции, когда открылся доступ к секретным архивам полиции и охранки, было обнаружено специальное «Дело» о похоронах великого русского писателя. Из него мы узнали, какому надругательству подвергался его прах, лишь только он, на пути из Парижа в Петербург, пересек русскую границу, как лишили Льва Толстого возможности произнести на траурном собрании в Москве речь в память Ивана

Сергеевича и т. п. Но и то, что было известно тогда, вызывало омерзение и гнев в самых широких кругах интеллигенции.

Не мог Александр не вспомнить в этот момент и своего посещения Петропавловской крепости, где среди многих благороднейших и смелых русских людей, становившихся в разное время узниками крепостных казематов-могил, отсидел свои четыре года кумир его ранней юности — Писарев. Тогда и не помышлялось, конечно, что и сам он, ненадолго, станет узником этого застенка, где все было столь хорошо приспособлено к медленному, бескровному, но неизбежному умерщвлению заключенных. Он вспомнил и о смерти Писарева, уже на свободе утонувшего во время купанья на Рижском взморье. Полицейский, приставленный к нему «для наружного наблюдения», видевший, как тонул Дмитрий Иванович, пальцем не шевельнул, никого не крикнул, чтобы спасти его.

Анна Ильинична писала в своей книге, с каким чувством вышел брат из Петропавловки:

«Я мало помню в своей жизни такие острые, мучительно гнетущие настроения... Не потому ли запечатлелось так ясно до сих пор выражение лица Саши, такое сосредоточенно-мрачное, как я его никогда дотоле не видала, так ясно, что я могла бы и теперь передать его, если бы умела рисовать: эти плотно сжатые губы, эти сдвинутые брови, это непередаваемое выражение страдания в глубоких глазах. Точно сразу состарилось его лицо».

Не мог не явиться в памяти и другой лю-

бимый писатель — Салтыков-Щедрин. Александру удалось повидать его, даже дважды, и пожать ему руку. Он ходил со студенческой депутацией на квартиру к Михаилу Евграфовичу, чтобы вручить адрес и поздравить с днем ангела — единственный формально допустимый и все же небезопасный повод выразить любовь и горячую признательность опальному писателю. Затравленный, лишенный своего детища (его журнал «Отечественные записки» был закрыт в 1884 году), больной, на пороге смерти — таким его видел и таким вспомнил его Александр, когда лавина мыслей неслась, наращивая скорость. Обязательно вспомнил, потому что великий сатирик был из тех, кто отдал свой литературный талант, всего себя без остатка на организацию силы, способной противопоставить себя грубой силе правительства... Многое скопилось в столичных напластованиях памяти, которые, придя в движение, неотвратимо влекли Александра, пережившего добролюбовскую демонстрацию, к террору.

Помните, читатель, слова Никонова: «...очень многие задавали себе вопрос: «неужели не найдется людей, которые взялись бы устранить грубого деспота?»» Для Александра, как и для самого Никонова, такой вопрос был немыслим: «Почему надо кого-то искать? Если надо устранить, берись за дело сам, не перекладывай на плечи других!»

Не длинен крестный путь революционера-террориста на Голгофу: арест — скоропалительное следствие — постыдно-торопливая комедия суда — виселица. Новый «помазанник»

спешит! Трясясь за собственную жизнь, торопится устрашить, привести в оцепенение тех — еще неизвестно даже, кого,— кто, быть может, уже изготовил бомбу и на него, только что воссевшего на престол убиенного родителя. Бывают, впрочем, исключения. Вот уже более двух лет, с октября 1884 года, томятся под следствием, ожидая несомненно смертного приговора, Герман Лопатин и еще двадцать членов «Народной воли».

На то существуют особые причины. Явилась возможность, так полагает охранка, не только выловить всех действующих агентов этой злокозненной, еще вчера могущественной террористической организации, но и вытравить ее молодые побеги — словом, расправиться с нею окончательно. Ради этого Александр III, живший с первого дня царствования глухим затворником в Гатчинском дворце, готов не торопиться с возмездием, тем более что непосредственные виновники смерти его венценосного отца — все эти Желябовы, Перовские и прочие «злодеи, изверги рода человеческого» — были казнены незамедлительно, и устрашение, стало быть, произведено. Александр Ульянов не сомневался: так же быстро подведут к виселице его, всю их маленькую группу.

В «Записках шлиссельбуржца» Михаил Новорусский писал об Александре:

«...Ему, самоотверженному защитнику террора, пришлось пережить немало тяжких минут раздумья и колебаний. Идти самому на этот путь — не значит идти к победе. Победой, если она будет, воспользуются другие. Участника же, который становится на этот

крестный путь, скорее всего ожидает смерть. А идти на смерть сознательно в 21 год, на заре жизни, когда человек полон самых возвышенных стремлений и рвется к делу, борьбе, жизни, а не к смерти,— на это нужна необычайная решимость. На это нужна сильная воля, которая должна преодолеть не только все соблазны, открывающиеся воображению в личной жизни, но и самую жажду жизни, вложенную природой в молодой организм».

Справедливо сказано! Очень трудно побороть естественную, особенно сильную у молодого, жажду жизни. Но мужественному человеку, обдуманно и убежденно избирающему террор в качестве революционного оружия, мысль о смерти не страшна. Он приемлет ее спокойно, как неизбежность, им самим вызванную. Александр Ульянов, в частности, тому яркий пример. Он прошагал от ареста, через следствие и суд, к эшафоту без трепета, ни разу не оступившись, удивляя даже видавших виды судейских бесстрашием, буквально самозабвенной, во вред ему идущей заботой о товарищах, оказавшихся с ним на скамье подсудимых.

Иначе обстоит дело с возвышенными стремлениями, с соблазнами в личной жизни. Смерть — одно и то же для всех, кто на нее идет осознанно, а жизнь, жертвуемая во имя террора, у каждого своя, и мера возвышенных стремлений, соблазнов, надежд, возможностей тоже отнюдь не одинаковая.

Вспомним удивительную судьбу Клеточникова, одного из героев «Народной воли», подготовивших казнь Александра II. Мы не

знаем точно, какая именно личная трагедия испепелила жажду жизни у этого прекрасного человека. По всей вероятности, сильная и безнадежно-безответная любовь. Так или иначе, но он приходит к твердому убеждению, что жизнь его стала бессмысленной, никому, в том числе и ему самому, не нужной. И он решает прибегнуть к самоубийству. Затем ему, сочувствовавшему борьбе за народное счастье, неожиданно является мысль: разве нельзя лишить себя жизни с пользой для других? И Клеточников из Симферополя, где он занимал второстепенную должность в окружном суде, выезжает в столицу с намерением убить царя. А здесь его встречает еще большая неожиданность. Николая Васильевича убеждают взять на себя задачу неизмеримо более сложную — проникнуть на службу в царскую охранку, чтобы охранять революционное подполье от шпионов и предателей, арестов и провалов, от всех и всяческих полицейско-жандармских напастей. Целые два года были отданы этому подвигу, этой опасной, выматывающей нервы работе. Потом — случайное разоблачение его связей с народовольцами, заключение в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, суд, смертный приговор, замененный медленной, мучительной смертью в Алексеевском равелине той же Петропавловки. Через год и три месяца установленный для него режим питания — здешние тюремщики на это великие мастера — сделал свое дело, развившаяся цинга вкупе с туберкулезом кишечника и легких умертвили Клеточникова.

Не правда ли, какая героическая судьба? А толчком к ней явилась фактически полная опустошенность жизни.

Совсем иным, как бы противоположным, был путь к террору у Александра Ульянова. Вот уж у кого жизнь сложилась на редкость счастливо! И бесконечно дорогое, успешно подвигавшееся дело — наука, и все более увлекавшая работа в студенческих организациях, и разгоравшийся в связи с нею интерес к общественным проблемам, и ватага друзей-единомышленников, относившихся к нему с горячей симпатией и уважением, и дружба с Анной, и нежная любовь к матери, приверженность ко всем младшим в семье... Лишь один уголок души пустовал еще — тот, где должна хозяйничать мужская любовь, но уже появились приметы, что и в нем жизнь вот-вот затеплится. «В то время,— вспоминал Чеботарев,— особенно я заметил это в декабре 1885 года, Александр Ильич стал проявлять интерес к женскому обществу». А как это последнее относилось к Ульянову, мы можем узнать из слов С. Хлебникова, одного из руководителей кружка кубанцев и донцов:

«Вместе с кристаллически чистой душой и способностью отдаваться безраздельно раз усвоенному убеждению, в Александре Ильиче была в высшей степени привлекательна другая черта, это — деликатное, бережное отношение его к человеческой личности. Эта мягкость в личных отношениях, чуткость и деликатность привлекали к нему все сердца и особенно чувствительную к указанной форме человеческого характера слабую половину че-

ловеческого рода. Я думаю, многие из окружавших Ильича молодых девушек, типа тургеневских... русских женщин, так поэтически изображенных Тургеневым в его стихотворении в прозе «Порог», не задумываясь, пошли бы за Ильичем на смерть, если бы это понадобилось».

Несомненно, жизнь Александра Ильича до краев полнилась самыми возвышенными стремлениями, недюжинными делами, благородными соблазнами личного счастья. А добролюбовская демонстрация, толкнувшая на путь революционного террора, понуждала принести все это в жертву новой жизненной цели. Пусть это требование и не противоречило моральному кодексу, установленному им для себя, а совпадало — результат от этого не менялся. В этом нравственном подвиге вся натура Александра. Этот подвиг являет нам жизнь его трагически прекрасной.

Но раньше, чем совершить его, Александру надо было обратиться к надежному советчику, к вышколенному аналитическому уму, оберегавшему во всех случаях жизни от поспешных, сомнительных, ложных шагов.

Поэтому Александр прежде всего, надо полагать, почувствовал необходимость проверить еще раз, как уживается идея революционного террора со сложившимися у него к этому времени теоретическими представлениями о пути развития русского революционного движения.

ИСКАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

«В течение около полувека, примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века,— писал Ленин в книге «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»,— передовая мысль в России, под гнетом невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную революционную теорию, Россия поистине *выстрадала* полувековой историей неслыханных мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта Европы».

Эти слова Владимира Ильича с полным основанием следует отнести и к его старшему брату. Александр, решив отдать все силы активной революционной борьбе, именно с жадностью, с присущей ему энергией пытался выработать для себя систему теоретических взглядов, способную правильно решать основные вопросы революционной практики.

И произошло это в самый драматический момент полувековых исканий, когда передовая мысль России подошла к распутью. Перед нею, резко разветвляясь, лежали две дороги: наезженная колея уже клонившейся к упадку народнической идеологии и только что протоптанная плехановской группой «Освобождение труда», многим русским революционерам еще неясная тропа к научному социализму.

Для биографов Александра Ульянова его теоретические искания являются той единственной областью, где, к счастью, можно опереться на документы, автором которых был он сам. Их три — во-первых, листовка «17 ноября в Петербурге», во-вторых, «Программа террористической фракции «Народной воли»» (так именовала себя в этом документе группа Александра Ульянова.— *В. С.*) и, наконец, стенограмма его речи на суде.

«Я могу,— говорил Александр перед судьями,— отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось, и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы».

Уточняя слова брата о ранней молодости, Анна Ильинична в своей книге рассказала маленькую историю.

Однажды летом, когда семья Ульяновых жила, как обычно в летнюю пору, в деревне Кокушкино, девятилетний Саша и одиннадцатилетняя Анна отправились на лодке в прогулку. На реке их застал дождь. Боясь, что слегка простуженная сестра расхворается всерьез, Саша, гребя изо всех сил, погнал лодку к ближайшей деревне, Татарской. Здесь они забежали в избу хорошо знакомого Ульяновым охотника и рыболова Карпея. «Это был талантливый самородок с речью, блещущей остроумием и меткими сравнениями,— писала Анна Ильинична.— Но особенно запомнила я нашу беседу с ним в этот раз... Он рассказывал нам, как по царскому приказу гнали через Казанскую губернию в Сибирь «жиденят». Этот рассказ очевидца был ярок и произвел на нас сильное впечатление».

Насколько глубоко он запал в детские души, можно понять из того, что через десяток лет, уже в студенческие годы, читая «Былое и думы» Герцена, они живо вспомнили охотника Карпея, и тогдашняя детская печаль и жалость сменились негодованием. Иного чувства эта история, описанная блестящим, эмоциональным герценовским пером, вызвать не могла. Да и сам Герцен, встретив по дороге в собственную ссылку этих восьми-девятилетних еврейских ребятишек, оторванных от родителей, бредущих из последних сил неизвестно куда и зачем и умирающих по дороге от этапа к этапу,— и сам Герцен глотал слезы бессильной ярости: «Какие чудовищные преступления безвестно схоронены в архивах

злодейского, безнравственного царствования Николая!»

Воспитанные в уважении к «инородцам», населявшим Симбирскую губернию, к татарам, чувашам, мордовцам, для которых Илья Николаевич строил школы, готовил преподавателей из их же среды,— воспитанные в духе, чуждом великодержавному русскому шовинизму, Александр и Анна горячо сочувствовали ярости Герцена. И Анна Ильинична была несомненно права, заключив свой рассказ утверждением, что «для Саши это было одним из фактов, пробуждавших в нем еще в детские годы то смутное недовольство существующим политическим строем, о котором он говорил в своей речи на суде».

Но вот мы переносимся в студенческие годы Александра и с недоумением читаем в воспоминаниях близких товарищей о его аполитичности. Чеботарев, например, писал, имея в виду первый год питерской жизни:

«Я принимал тогда деятельное участие в поволжском землячестве и на первых же порах заговорил с Александром Ильичем о вступлении его в члены этого землячества, равно как и с приехавшей вместе с ним сестрой его, Анной Ильиничной... Но сочувствия не встретил. Мне показалось, что оба они слишком для этого «благовоспитаны» и несколько предубеждены против всяких студенческих организаций; приехали в Питер только «учиться» и заниматься «чистой наукой», а не «политикой»».

О том же примерно писал и Говорухин. Он утверждал, что даже на третьем курсе Але-

ксандр «не участвовал еще ни в революционных организациях, ни в кружках самообразования». О тех студентах, которые работали в этих кружках, он, по словам Говорухина, говорил: «Болтают много, а учатся мало».

Наше недоумение естественно: мы уже имели случай узнать редкостную и своеобразную правдивость Александра. Ложь, хотя бы и по пустяковому поводу, никогда не слетала с его уст. Нельзя допустить, чтобы в речи на суде — а он понимал, что она последняя в его жизни — были сказаны неправдивые слова. И ради чего понадобилось бы относить начало своего революционного мышления, хоть и «смутного», к временам ранней молодости? В характере Александра рядом с правдивостью жила столь же редкостная скромность, о которой не забывали упомянуть буквально все, кто о нем писал воспоминания.

С другой стороны, нельзя заподозрить Чеботарева и Говорухина в том, что их первые впечатления об Ульянове-студенте неискренни. Более того, надо признать, в них отразилась известная доля правды. Поступив в университет, Ульянов действительно был некоторое время целиком поглощен наукой. И его, однолюба по характеру, нетрудно понять.

Он добросовестно отгрубил девять лет ненавистной ему гимназической учебы и получил свою первую медаль. (Преподавание в тогдашней Симбирской гимназии не заслуживало уважения и не могло вызвать любви.) Это был его долг перед отцом, и, кроме того, лишь гимназический «аттестат зрелости» мог

открыть перед ним двери университета. Естественно, когда они открылись, Александр ринулся в науку как одержимый. Наконец-то осуществилась давняя, заветная мечта!

Однако даже в этот начальный период студенческой жизни он не был «ученым сухарем». Вспомним его впечатления, унесенные из Петропавловской крепости, его возмущение тем, во что превратила царская власть похороны Тургенева, его реакцию на закрытие «Отечественных записок» и посещение больного Щедрина студенческой делегацией, которая была избрана на факультете как раз по инициативе Александра... Нет, смутное недовольство общественным строем не только не испарилось в Питере, а наоборот — накапливалось все больше и больше. Хотя политика все еще продолжала быть — что верно, то верно — сторонней для него областью практической деятельности, политические вопросы все чаще и острее тревожили его ум. И тут тоже Александр оставался верен себе: как и в науке, он не удовлетворялся готовыми политическими рецептами, а искал ответов сам, пытаясь разобраться в проблемах общественной жизни досконально.

Продолжим цитату из воспоминаний Говорухина, в которой было сказано, что Ульянов сторонился революционных организаций. Вот как объяснил это ему Александр:

«В революционные организации не вступаю потому, что я не решил еще многих вопросов, касающихся лично меня, а что еще важнее, вопросов социальных. Да и вряд ли скоро вступлю».— «Почему?» — «Потому —

больно уж сложны социальные явления. Ведь, если естественные науки, можно сказать, только теперь вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны,— только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же представляют собой социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение — иное не имеет никакого смысла,— а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того, безнравственно профану медицины лечить болезни; еще более смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их».

Возможно, слова эти, переданные Говорухиным от лица Ульянова, и не совсем точны, но их смысл сомнений не вызывает. Подтверждением могут служить хотя бы строки из воспоминаний Брагинского:

«Идея служения народу была центральной идеей нравственного и политического миросозерцания Ульянова, поистине его символом веры. Но тогда он как бы не считал себя еще вправе браться за ответственную революционную работу... В его глазах политическая деятельность, революционная борьба были делом слишком серьезным и ответственным, чтобы можно было безоглядно броситься в нее без предварительной научной подготовки и нравственной закалки».

Еще и не предполагая быть лекарем социальных болезней, все еще оставаясь верным рыцарем Науки, Александр стал втягиваться

в изучение политических, исторических, экономических проблем. Вместе с Анной он слушал лекции В. Семевского по истории русского крестьянства. А когда чтение этого курса было прекращено и в университете, и в Бестужевке (народник В. Семевский для начальства оказался слишком левым), оба они «в числе избранных», как писала Анна Ильинична, дослушивали лекции на квартире историка. По инициативе Александра в Симбирском землячестве, где он уже активно работал, возник кружок по изучению экономического положения крестьянства.

«Крестьянский вопрос», как в историческом плане, так и злободневном, все более заинтересовывает Александра. Он внимательно следит за журнальными статьями на эту тему, понимая, что она становится главной, решающей в острой полемике первых русских марксистов в лице Плеханова и группы «Освобождение труда» с народниками.

Параллельно с поисками правильной революционной теории Александр все глубже входил в общественную студенческую жизнь. Он стал одним из самых деятельных и авторитетных членов Симбирского землячества, от этого землячества был делегирован в центральный кружок (руководящий орган) объединенного Союза студенческих землячеств столицы. В конце 1885 года вступил в экономический кружок, деятельность которого отнюдь не сводилась к изучению общественных наук и обсуждению злободневных политических проблем. Кружок этот одновременно являлся как бы негласным политическим цент-

ром, влиявшим на деятельность Союза землячеств и других студенческих организаций,— того же научно-литературного общества, где Ульянов был, как уже знает читатель, избран секретарем и во многом определял характер его деятельности.

Именно Ульянов включил в повестку одного из заседаний общества доклад студента Марка Елизарова, тоже члена экономического кружка, об экономическом положении крестьян Самарской губернии. По форме это был даже не доклад, а как бы личные впечатления будущего мужа Анны Ильиничны о жизни родной деревни, откуда только что вернулся после каникул Елизаров. Но слушатели из этих впечатлений могли без труда сделать вывод о тяжелом положении крестьян, глухом их протесте против порядков, установленных реакционной политикой правительства Александра III и доводящих деревню до крайней степени нищеты и бесправия.

Так, если говорить кратко, шел процесс «предварительной научной подготовки и нравственной закалки» будущего революционного деятеля, хотя сам Ульянов до поры до времени не отдавал себе в этом отчета. Каков же был его конечный результат?

Авторы воспоминаний, а позднее биографы и исследователи политических взглядов Александра Ульянова, каждый по-своему выделяя то одну, то другую черту его мировоззрения, различно трактуя отдельные места его судебной речи, написанной им от лица группы программы, на одном сошлись единодушно. Они признали, что сложившиеся к

этому моменту у Александра Ульянова политическне взгляды были непоследовательными, внутренне противоречивыми. Действительно, в программе, как и в речн на суде, нетрудно обнаружить существенные элементы нового, марксистского понимания законов общественного развития и обусловленных имн путей и практических задач революционной борьбы. Но тут же, по соседству с ними, так же легко обнаружнть и существенные элементы старых, народнических воззрений.

Александр Ильич н сам признавал это соседство. Более того, он сознательно стремился к такому сочетанию разнородных политическнх взглядов. В письменных показаниях от 20—21 марта он, восстанавливая по памяти программу, объяснил следствию, что в его задачу входило «составить опыт общепартийной программы, которая могла бы объединить революционные партии».

«Прежняя программа «Народной воли»,— писал он далее в этих показаннях,— по недостатку научной обосновки и некоторой неопределенностн своих положений не вполне удовлетворяет революционные кружки, и мы думали, что, исправляя ее недостатки и сделав в ней некоторые изменения, можно устранить все существенные причнны разногласий и послужить делу объединения революционных сил...»

Говоря о партиях, которым следовало бы в интересах революционного дела объединиться на единой политической платформе, Ульянов имел в виду кроме «Народной воли» группу «Освобожденне труда» н возникшие в

Петербурге кружки революционной молодежи социал-демократического направления.

Современному читателю такое намерение может показаться до крайности наивным. Но для правильной оценки его необходимо учитывать обстановку — кризисное состояние, в каком тогда находилась революционная теоретическая мысль.

Вспомним ленинскую характеристику руководителей социал-демократического движения в период 1894—1898 годов:

«Многие из них начинали революционно мыслить, как народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями террора. Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными «Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали».

Если бы не смерть на эшафоте, Александр Ульянов — для нас это несомненно — был среди них, молодых социал-демократов, был бы вместе с Владимиром Ульяновым. Но в конце 1886 года он еще не успел полностью освободиться от влияния народовольческих идей, а главное — он видел в народовольческой организации силу, которая боролась против общего врага. Отсюда и рождалось желание как-то объединить действия обоих революционных течений. Кстати сказать, такое желание совместной с народовольцами борьбы нашло свое отражение и в первой программе группы «Освобождение труда». Надо учесть еще и то, что процесс превращения

известной части народовольцев в социал-демократов был труден, порой мучителен. И далеко не все из них, соприкоснувшись с марксизмом и даже уверовав, как им казалось, в него, нашли в себе силы окончательно отрешиться от народнической идеологии и прочно стать на почву марксистской теории революции. Разительный тому пример — знакомство Веры Фигнер с первым томом «Капитала» Маркса, который она назвала «монументальным произведением».

«Оно произвело на меня,— писала Фигнер в «Очерках автобиографических»,— исключительное по своей силе впечатление: это было, можно сказать, мое второе крещение в социализм».

Естественно было бы предположить, что, восхитившись марксовой теорией развития и гибели капитализма, «приняв ее за прочную опору для личной деятельности», Фигнер навсегда уйдет из-под знамени народовольчества и станет в ряды революционного движения, воодушевленного идеями Маркса. Но...

«Прежние взгляды,— признавалась Фигнер,— лежали основным пластом, а вверху расположилось все, почерпнутое из книги «Капитал». И эти два слоя не перемешивались сверху донизу...»

Словом, испытав в результате чтения «Капитала» свое «второе крещение в социализм», Фигнер так и осталась народоволкой. А ведь это было после 1 марта 1881 года, когда жизнь разрушила народовольческие иллюзии насчет того, что удачное покушение на царя зажжет, подобно искре, пожар кре-

стьянской революции. Это было в пору, когда могущество «Народной воли» исчерпалось, в сущности, полностью.

В этих условиях, казалось бы, само собой напрашивалось решение — раз навсегда распроститься с народовольческой политической доктриной. Но Фигнер — умнейшая, высокообразованная мужественная деятельница революционного движения — не нашла в себе силы для этого.

Александр Ульянов принадлежал к иному поколению русских революционеров. Для этого поколения отказ от обаятельного впечатления героического народовольчества тоже был делом нелегким и требовал мужественной работы мысли. Но Александр сразу после знакомства с первым томом «Капитала» проникается глубоким интересом к марксизму. Ему удалось раздобыть и вместе с Говорухиным прочитать одну из первых работ Маркса, опубликованную в «Немецко-французском ежегоднике»,— статью «К критике гегелевской философии права». Он даже сделал ее перевод на русский язык, намереваясь опубликовать в нелегальном издании.

«Помню до сих пор,— писал Говорухин в 1927 году,— как мы читали о еврейском вопросе и о философии права Гегеля. Александр Ильич с восторгом следил за блестящей диалектикой Маркса и бурно выражал свой восторг... Александр Ильич предполагал прочесть со мной все другие сочинения Маркса и Энгельса, какие только можно было достать в то время в Петербурге, и первым из них он

намечал брошюру «К критике политической экономии»».

В работах Маркса его пленил самый подход к историческому процессу, раскрытие объективных закономерностей общественного развития.

Он внимательно прочитал первые крупные марксистские работы Плеханова — «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия».

Вооружившись таким образом, он подверг анализу и критике народовольческие взгляды. Нашумевшую в то время книжку столпа либерального народничества В. Воронцова «Судьбы капитализма в России» прочитал основательно, с карандашом в руках и сделал многочисленные записи, которые долго хранились у Чеботарева. До нас они не дошли, но вот что писал Чеботарев в своих воспоминаниях:

«Перечитывая эти заметки, я видел, как широко и глубоко уже тогда Александр Ильич понимал экономические вопросы, и, стоя в своей практической деятельности (заметки писаны не раньше осени 1886 г.) на почве народничества, он видел, как быстро развивается в России капитализм, критически относился к идеям В. В. (под таким псевдонимом выступал В. Воронцов.— *В. С.*) и выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства. Не знаю, может быть, тут сказалось влияние появившейся тогда книги Плеханова «Наши разногласия», о которой я помню отзыв Александра Ильича — «интересная книга»».

Посмотрим теперь, как изучение марксизма отразилось и в программе, написанной Ульяновым, и в его речи на суде. Лучше всего сделать это при помощи выписки из статьи Ленина «Мелкобуржуазный и пролетарский социализм», написанной в 1905 году и направленной против эсеровских взглядов:

«Народничество было до известной степени цельным и последовательным учением. Отрицалось господство капитализма в России; отрицалась роль фабрично-заводских рабочих, как передовых борцов всего пролетариата; отрицалось значение политической революции и буржуазной политической свободы; проповедовался сразу социалистический переворот, исходящий из крестьянской общины с ее мелким сельским хозяйством».

«Человек будущего в России — мужик, думали народники, и этот взгляд вытекал неизбежно из веры в социалистичность общины, из неверия в судьбы капитализма. Человек будущего в России — рабочий, думали марксисты, и развитие русского капитализма, как в земледелии, так и в промышленности, все более и более подтверждает их взгляды».

Сопоставим теперь по пунктам взгляды Александра с тем, что сказано в ленинской цитате.

1. Судьбы капитализма в России. В программе «Террористической фракции» сказано:

«К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития; он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождае-

мого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Прибавим к этому убеждение Александра Ульянова, что развитие капитализма в России идет быстрым темпом,— убеждение, высказанное в заметках о книге «Судьбы капитализма в России».

2. В прямом противоречии со взглядами народников, уповавших на мужика, отводивших ему, а не рабочему классу главную роль в социалистическом переустройстве жизни, Александр Ульянов эту роль отдавал именно пролетариату. В программе сказано:

«Только на известной ступени экономического развития общества, при достаточной зрелости его, возможно осуществление социалистического идеала... как результат изменения в отношении общественных сил в стране, как результат количественного или качественного увеличения силы и сознательности в рабочем классе».

И далее:

«Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменение общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Это убеждение, что именно рабочий класс призван сыграть главную роль в социалистическом преобразовании России, что подготовка его к этой роли должна быть важнейшей заботой партии, сказалось и в практической деятельности Александра Ильича. Будучи занят и учебой в университете, и работой в студенческих организациях, а в последние месяцы еще и подготовкой к покушению, он находил время для налаживания связи с нелегальными рабочими кружками на Васильевском острове. К сожалению, сведения об этой его деятельности необычайно скудны. Но можно не сомневаться — если бы не арест, Александр быстро стал бы крупным организатором пролетарских революционных сил в этом районе столицы.

3. Программа террористической фракции не отрицала значения буржуазной политической свободы. «Без свободы слова», «без участия народных представителей в управлении страной», говорилось в программе, невозможно достижение конечных целей социалистической партии. Поэтому борьба за «свободные учреждения», хотя она и не является главной задачей для русского социалиста, необходима как непременное условие перехода к социалистическим формам общественной жизни. (Этой теме была посвящена и значительная часть речи на суде.) Что же касается самого перехода, его характера — политическая революция или какой-то постепенный процесс,— то и в программе и в речи он, фактически, освещен не был.

4. Крестьянская община. Этот пункт пред-

ставляет, пожалуй, наибольший интерес для исследователя политических взглядов Александра Ульянова.

Вряд ли можно оставить без внимания утверждение Чеботарева, что Александр Ильич «выражал сомнение в прочности русской общины как базы социального переустройства». Однако в программе после заявления о неизбежности перехода к социализму, коль скоро страна стала на путь капиталистического развития, говорится: «Этот закон не выражает собой, конечно, единственно возможного пути; он не исключает возможности более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства, если для этого существуют особенно благоприятные условия...»

Некоторые авторы, писавшие об Александре Ульянове, расценили эти строки как неоспоримое доказательство того, что он, по сути дела, остался верен главному догмату народников — утверждению, что у России особый путь исторического развития, на котором нет места капиталистической стадии. Нам это представляется ошибкой. Не имея возможности сколько-нибудь подробно останавливаться на этом специальном вопросе, мы ограничимся ссылкой на Маркса и Энгельса, которые неоднократно, в течение ряда лет обращались в статьях, письмах к судьбе русской крестьянской общины, к ее роли в процессе преобразования России.

В первом наброске ответа на письмо В. И. Засулич Маркс писал: «Если революция (в России.— *В. С.*) произойдет в надлежащее время, если она сосредоточит все свои

силы, чтобы обеспечить свободное развитие сельской общины, последняя вскоре станет элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами, которые находятся под ярмом капиталистического строя». Небезынтересно, что это было написано в конце февраля — начале марта 1881 года, то есть в момент, когда народовольцы убили Александра II.

В январе 1882 года Маркс и Энгельс заключили предисловие ко второму русскому изданию «Манифеста коммунистической партии» следующими строками:

«Спрашивается теперь: может ли русская община — эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада?

Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Таким образом, в принципе ничего народнического, немарксистского в мысли Ульянова о возможности перехода России к социализму, минуя капиталистическую стадию, не было. К тому же эта мысль выражена в программе мимоходом, как абстрактная возможность,

практически уже утерянная Россией, вступившей на путь капиталистического развития. В отличие от народников, программа не выражала также никаких революционных упований на крестьянство: «...при своей неорганизованности и отсутствии ясного сознания своих политических нужд оно может оказывать современной политической борьбе лишь бессознательную поддержку своим общим недовольством».

Наконец, надо иметь в виду и тактическую целенаправленность программы, стремление объединить и социал-демократические, и народнические элементы русского революционного движения. Ведь и в самой террористической группе Ульянова были не только люди, захваченные идеями Маркса, но и люди — например, Андреюшкин, один из трех бомбометателей,— резко, демонстративно заявлявшие о своей непоколебимой приверженности к народовольческим воззрениям. Поэтому трудно установить с высокой степенью точности, какие положения программы народнического характера выражали взгляды самого Ульянова и какие — были продиктованы соображениями тактического порядка. Мы можем лишь делать осторожные предположения. Например, включение в программу мысли о принципиальной возможности достичь социализма в России особым путем, минуя капиталистическую фазу, вероятно, надо считать тактической данью Ульянова последователям «Народной воли». Он-то был твердо убежден, что эта проблема снята самой жизнью, раз страна уже находится на пути капиталистического

развития и нет никаких сил, которые могли бы повернуть ее вспять. С другой стороны, строки программы, характеризовавшие крестьянство, по-видимому, соответствовали и его личным взглядам. Здесь было сказано:

«Несмотря на значительное развитие в его среде мелкой буржуазии, крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической».

И хотя здесь речь шла только о крестьянском хозяйстве, а не об экономическом строе России в целом, такая надежда, несомненно, была навеяна народническими представлениями, существенные остатки которых еще влияли на политическое умонастроение Александра Ульянова. С решающей силой они проявились в столь важном пункте программы, как подробное обоснование необходимости террористической борьбы.

«Для народовольца,— писал Ленин,— понятие политической борьбы тождественно с понятием политического *заговора*». Эта характеристика целиком приложима к группе Александра Ульянова. В самом деле, она возникла как группа студентов, убежденных в том, что террор является единственным средством эффективной политической борьбы с царизмом, поскольку «у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности». Она возникла как заговор единомышленников, поставивших

себе единственную цель — совершить террористический акт, убить Александра III. Вся ее деятельность была строго ограничена этой целью и свелась к изготовлению динамита, отравленных стрихнином пуль, которые должны были разлетаться на большой радиус при взрыве бомбы, к усовершенствованию запалов, механизма, который приводил бомбу в действие, и, само собой разумеется, к слежке за маршрутами царя по улицам столицы.

Таким образом, практическая цель группы Ульянова ничем не отличалась от практической цели «Народной воли». Герои 1 марта 1887 года, так же как герои 1 марта 1881 года, все свои — далеко не равные — силы отдали террору...

Читатель вправе спросить: и это тот результат, к которому привели Александра Ульянова искания правильной революционной теории?

Действительно, такое недоумение может возникнуть. Чтобы его рассеять, надо мысленно перенестись в реальную обстановку той эпохи. «Политическое убийство в России,— писал Энгельс в 1879 году,— единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди для защиты против агентов неслыханно деспотического режима». Конечно, террористическая борьба, заговорщическая деятельность находились в противоречии с мыслями Александра Ульянова о революционной роли рабочего класса, о роли революционной интеллигенции, которая главные свои силы «должна посвящать организации и воспитанию рабочего класса,

его подготовке к предстоящей ему общественной ролн». Однако, полагал Александр Ульяиов, «при существующем полнтическом режнме в Россин почти невозможиа никакая часть этой деятельностн». Надо, следовательно, добнться изменеиия этого режима, добнться полиой свободы «совести, слова, печати, сходок, ассоциацнй» и т. д. А для этого есть только одио средство — террор, беспощадный и систематический террор, который вынудит самодержавие пойтн на все иеобходимые политнческие уступки.

Это была старая иародовольческая нллюзня. Плеиившнсь ею, Александр Ульяиов совершил трагическую ошибку н расплатнлся жизиью. Но раиьше, чем это произошло, ои должен был принести иа алтарь революцнонной борьбы две тяжкие жертвы.

НАУКА СКЛОНЯЕТСЯ ПЕРЕД ПОЛИТИКОЙ

Напомним читателю слова Брагинского. «Идея служения народу была центральной идеей нравственного и политического миросозерцания Ульянова». Поэтому, справедливо считал Брагинский, он и науку любил «не как самоцель, а как могучее орудие служения народу, человечеству». Родственную, но гораздо более определенную мысль высказал известный русский востоковед академик С. Ольденбург, учившийся в Петербургском университете одновременно с Александром Ульяновым. Он спрашивал себя: что побуждало последнего работать в студенческом научно-литературном обществе?

«Этот вопрос я ставил после его смерти не раз,— писал Ольденбург в 1924 году.— И удовлетворительный ответ получил, только когда познакомился потом с его братом, Владимиром Ильичем. Да, Александр Ильич был, как и брат, прежде всего человеком воли и действия. Эта сторона его характера определила для него ту террористическую деятельность, которая и привела его к смерти. Но наряду с этим в нем, как и в его брате, была заложена глубокая вера и любовь к науке:

разрушая старую жизнь, которая рисовалась ему как сплошное рабство, он понимал, что новую, свободную, рациональную жизнь, для которой он не жалел жизней, своей и чужих, можно создать, только опираясь на науку, с ее неуклонным свободным исканием. Оттого он с такой любовью вел свои глубоко специальные лабораторные занятия по зоологии, оттого он писал с таким увлечением специальную, столь, казалось, далекую от жизни, а особенно от террористического акта, работу, за которую ему присудили потом золотую медаль».

Несомненно, такую любовь, такое понимание науки Александру привил отец, человек отчетливо просветительских взглядов. Вся деятельность Ильи Николаевича, начиная с преподавательской работы и кончая работой директора народных училищ, была ярко окрашена верой в то, что знания, распространяемые в народе, способствуют улучшению народной жизни. Но первые проблески интереса к науке обнаружились у Александра еще в том раннем возрасте, когда мысль о социальной роли научных знаний была просто недоступна для его детского ума. Летняя жизнь в Кокушкине, деревенское приволье, казавшееся, по словам Анны Ильиничны, чем-то «несравненно красочным и счастливым», пробудили у мальчика-горожанина естественное любопытство к окружающей природе. Вскоре оно обернулось любознательностью. Саша пристрастился собирать разного рода коллекции. Особенно запомнилась Анне Ильиничне прекрасная коллекция птичьих яиц, которую

брат ухитрялся пополнять и в Симбирске. А затем началось чтение книг — о природе, об ученых, которые ее изучают, и, наконец, в духовный мир Александра и Анны ворвался «кумир ранней юности» — Писарев со своей страстной проповедью естественнонаучных знаний, резкими, прямолинейными взглядами на проблемы эстетики, суровым нравственным кодексом «мыслящих реалистов», коими должны были быть, по мнению Писарева, представители передовой интеллигенции.

«Брали мы Писарева, запрещенного в библиотеках,— писала Анна Ильинична,— у одного знакомого врача, имевшего полное собрание его сочинений. Это было первое из запрещенных сочинений, прочитанное нами. Мы так увлеклись, что испытывали глубокое чувство грусти, когда последний том был дочитан и мы должны были сказать «прости» нашему любимцу».

Анна под влиянием нравственной проповеди Писарева отказалась даже от уроков музыки, а Сашу Писарев «отвратил от любимого Пушкина». Но главное было в том, что это чтение «от доски до доски» разогрело и без того сильное увлечение Александра естественными науками. Еще раньше он наладил себе собственными руками маленькую лабораторию, научился с помощью спиртовки гнуть стеклянные трубочки, смастерил прибор для гальванопластики. Исчерпав запас колб и реторт, которые можно было получить в Симбирске, стал выписывать все нужное для простейших химических опытов из Казани, а чтобы иметь для этого деньги, в последних клас-

сах гимназии взялся репетиторствовать. Когда умер учитель гимназии Чугунов, приобрел немало книг из его дешево распродававшейся библиотеки.

Гимназия — с ее латынью и греческим, со схоластикой, с учителями и директором, которые в большинстве своем были достойны сатирического пера Гоголя,— мало что давала Александру. И он, в помыслах об университете, стремясь явиться перед профессурой хорошо подготовленным, не терял ни минуты времени, отведенного им для самостоятельных занятий. В эти последние годы пребывания на гимназической скамье он увлекался химией, которую основательно изучил в домашней обстановке с помощью всемирно известного учебника Менделеева «Основы химии». Мог ли он думать тогда, что эти «основы» дадут ему возможность легко освоить процесс кустарного приготовления динамита!

В университете химия неожиданно должна была потесниться и даже отойти на второй план. Александра стала все больше и больше привлекать биология, точнее — зоология, еще точнее — зоология беспозвоночных. Это произошло под влиянием такой обаятельной личности, как Николай Петрович Вагнер. Крупный ученый, профессор, он ведал кафедрой зоологии беспозвоночных. Александр не сразу изменил химии — столько было ей отдано в Симбирске, столько радостей она ему доставила! К тому же Бутлеров не желал упускать из числа своих учеников талантливого юношу. И все же спор химика Бутлерова с зоологом Вагнером кончился победой беспозвоночных.

Последние в награду за приход молодого ученого в их царство принесли ему золотую медаль.

В Санкт-Петербургском Императорском университете существовала давняя традиция — ежегодно проводить студенческие конкурсы и лучшие письменные работы отмечать награждением авторов медалями. 8 февраля, в день основания университета, в переполненном актовом зале, где кроме студентов и профессуры присутствовал обычно сам министр народного просвещения, эти награды торжественно вручались победителям.

В 1885 году студент второго курса естественного отделения физико-математического факультета Александр Ульянов избрал для конкурсного сочинения тему: «Исследование строения сегментарных органов пресноводных Annulata». Год прошел в напряженной работе — в изучении литературы предмета, микроскопических исследованиях. Александр, как мы уже знаем, мог работать по шестнадцать часов в сутки, когда этого требовало дело или когда был чем-то особенно увлечен. А этой работой, по свидетельству Анны Ильиничны, он увлекался необычайно. «Помню,— писала она,— как раз я наклонилась над кишащими, объемом чуть не в нитку червями, спросив у него: «Неужели у них все органы дыхания, пищеварения есть?» И он с оживившимся лицом, очевидно довольный, что любимая им область встречает интерес, ответил: «Да!»»

В конце того же года Александр представил свою работу на суд специального жюри,

рецензент которого, маститый профессор физиологии академик Овсянников, оценил ее следующим образом:

«Здесь, в этой хорошо обследованной области, каждый новый факт имеет тем большую цену, что он добывается значительным трудом. Проверять, а тем более поправлять работы таких опытных исследователей, как Лейдиг или Шультце, или такую тщательную работу, как работа Бёрна,— для этого нужно иметь значительную долю опытности и прилежания. Вот основания, по которым автора, студента VI семестра Александра Ульянова, факультет нашел возможным вознаградить за его старательный труд золотой медалью».

8 февраля 1886 года в актовом зале Александру среди других победителей конкурса была вручена золотая медаль с надписью — «преуспевшему». Ректор университета И. Андреевский, поздравляя, назвал его «гордостью университета», что, впрочем, не помешало тому же Андреевскому всего через год с небольшим, сразу же после ареста Александра, в том же актовом зале объявить «бывшего» студента Ульянова «позором университета».

Итак, вторая золотая медаль в юношескую пору. С этого момента уже ни у кого не было сомнения, что он будет оставлен при университете для подготовки к профессорской деятельности. Конечно, Александр испытывал чувство законной гордости, унося домой дорогую ему награду. Она и в прямом смысле была дорогой, как изделие из золота, оценивалась свыше ста рублей. Но когда срочно потребовались деньги для бегства Говорухина

за границу, Александр, не колеблясь, заложил ее в ломбарде. И это был не единственный шаг в жизни, означавший его всегдашнюю готовность выручить товарища, выручить даже и в тех случаях, когда такая выручка, как это было на суде, грозила смертью.

Скромный и застенчивый в проявлении своих чувств, Александр сообщил о своем успехе матери лишь в письме от 2 марта и всего одной фразой: «За мою зоологическую работу о кольчатых червях (я еще летом начал работать) получил золотую медаль». А далее в этом коротком письме шло: «Все у нас по-старому, не знаю, что сказать тебе еще, милая мамочка». А мать одновременно и радовалась и горько плакала: отец, умерший всего полтора месяца назад, уже не может порадоваться этому известию. Несомненно, для него это было бы огромной радостью, Илья Николаевич, сам окончивший физико-математический факультет и высоко ценивший научную работу, был твердо убежден, что старшего сына ждет большой успех на ученом поприще.

«Помню разговор отца,— писала Анна Ильинична,— с кем-то о том, почему Саша выбрал естественный факультет.— Приложения к жизни никакого нет; кем быть? Только учителем? — заявил собеседник отца.— Можно профессором,— сказал отец, просто и скромно, как всегда, но гордость сыном светилась в его глазах.— Да, если так, конечно,— сбавив тон, с видимым уважением ответил тот».

Скромность — скромностью, но Александр уже твердо знал, что он выбрал в жиз-

ии дело, в котором достигнет немалых успехов. Он это знал и по собственному разумению, и по отношению к нему его профессоров: стороной до него дошел слух о том, как Бутлеров и Вагнер спорили о его научной специализации. Он ощущал в себе талант незаурядного исследователя, о котором после его смерти Менделеев отозвался словами самой высокой похвалы.

«Эти проклятые социальные вопросы,— сказал Менделеев в стенах университетской аудитории,— это ненужное, по моему мнению, увлечение революцией,— сколько оно отнимает великих дарований. Два талантливейших моих ученика, которые, несомненно, были бы славой русской науки — Кибальчич и Ульянов,— пожраны этим чудовищем».

Простим, читатель, великому химику его политическую наивность. Он вовсе не был ретроградом или царским угодником, вроде трусливого Андреевского. Наоборот, это был человек свободомыслящий, независимый в своих суждениях. Не раз вызывал ими резкое недовольство в правительственных сферах, и только мировая слава спасала его от репрессий. Но у него были свои убеждения насчет того, какими путями следует выводить отсталую Россию на широкую дорогу прогресса, как добиваться благосостояния народа.

Решившись отдаться террористической деятельности, Александр отчетливо сознавал, что его почти наверняка ждет виселица. А это означало необходимость тяжкой жертвы — необходимость распрощаться с наукой, похоронить в сердце, которое пока еще билось,

эту свою великую любовь. Он никому из товарищей не обмолвился ни словом об этой трагедии. Они могли лишь догадываться, как Новорусский, или понимать ее, исходя из собственного опыта, как Лукашевич.

Участник террористической группы Ульянова, его однокурсник, избегнувший смерти, но отсидевший вместе с Новорусским около двадцати лет в Шлиссельбурге,— Иосиф Лукашевич впоследствии писал о том, как велика была для него такая же трагедия. Из его строк мы косвенным путем можем представить себе, что должен был пережить Ульянов, прощаясь с наукой. Поэтому мы выпишем из воспоминаний Лукашевича эти рассуждения полностью, тем более что ему удалось выразить свои чувства и мысли в яркой форме:

«Отказаться от личной жизни и предстоящих успехов, погибнуть в расцвете сил и молодости и причинить своей смертью глубокое горе и долгие годы страдания своим родным и друзьям — все это, разумеется, очень тяжело, мучительно, однако с этим можно примириться. Но из глубины моей души поднимался тихий и слабый, но пронизывающий, жгучий вопль протеста. Чей же это голос звал меня к жизни?

С каждым годом круг моих знаний быстрыми взмахами расширялся во всех направлениях, и светоч науки озарял мне ярким светом все новые и новые области, завлекая меня все дальше и дальше в безбрежный океан знаний. Мысль моя работала неустанно, лихорадочно, и душа моя была захвачена, пленена величием, мощью и красотою науки. Она была для

меня неисчерпаемым источником чистых радостей, сильных возвышенных переживаний. Я видел, как в этом бурлящем и клокочущем океане знания зарождаются молодые созданьица, мои собственные новые, еще не оформленные идеи, как они группируются в зачаточные теории, обещавшие со временем вырасти в новые стройные оригинальные теории. И вот это поколение новонарождающихся идей обрекалось мною на погибель,— мне их было невыразимо жаль, было невыносимо больно, так же мучительно, как отцу слышать вопль своих детей, ведомых им самим на казнь.

Быть может, многим это душевное состояние покажется странным, неестественным, но тот, в ком есть искра самостоятельного творчества, поймет меня.

Эту душевную трагедию пережил и Александр Ильич. От природы он был сдержан, молчалив и не склонен к экспансивным излияниям, но мы понимали друг друга без слов. Не раз я видел Александра Ильича сидевшим неподвижно, подперши голову обеими руками, с глубокой печалью на лице и взором, устремленным вдаль. И чем ближе было к развязке, тем угрюмее и мрачнее становился Александр Ильич».

Вероятно, надо согласиться с утверждением Лукашевича, что Александр пережил эту же трагедию — оба были влюблены в науку, оба должны были готовиться к гибели всех планов только что начавшегося научного творчества. И все-таки в эту аналогию следует внести по крайней мере одну существенную поправку. Лукашевич поставил науку как

главную и самую тяжелую жертву, которую потребовал от него террор. Анна Ильиннчна была, несомненно, права, когда считала, что брата с наибольшей силой должна была отвращать от террора мысль о матери и семье в целом. Об этой жертве, о том, как Александр нашел в себе силы ее принести, читатель узнает из следующей главы. А пока мы еще должны задержаться на науке, которая была вынуждена склониться перед политикой.

Может показаться парадоксом утверждение, что наука не только бурно протестовала против террора, но одновременно и толкала Александра на террористическую борьбу. Но ничего парадоксального тут нет. Анна Ильиннчна рассказывала, как реагировал брат на принесенное ею известие о закрытии журнала «Отечественные записки», а также на слух, оказавшийся, правда, ложным, что его редактор, Салтыков-Щедрин, арестован.— «Это такой наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держать!..— сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что мне стало снова жутко за него». И далее: «...теперь я думаю, что более проницательный наблюдатель предсказал бы и тогда его путь. Уменье ставить перед собой главную цель и неуклонно идти к ее осуществлению, страстная любовь к науке спасали его первое время». Но Анна Ильинична одновременно отмечала, что увлечение наукой не отгораживало брата от жизни, в частности от ее темных сторон, от общественных проблем, которые перед Александром неизбежно возникали. И как только жизнь резко, настойчиво и во весь рост их перед ним

поставила, так все, что его спасало первое время, стало действовать в противоположном направлении. Как только изменилась главная цель, так умение неуклонно идти к ее осуществлению и сама наука стали вооружать его для террористической борьбы.

Разве не наука заставила Александра сказать Говорухину, что смешно и безнравственно лечить болезни, в том числе и социальные, не понимая причины их? И если он, Александр, пришел к мысли о жестокой необходимости участвовать в лечении социальных болезней, то наука должна была помочь ему в поисках действенных лекарств. Так привычка к глубокому научному мышлению толкнула его на поиски правильной революционной теории.

Говорухин писал, что его в Александре пленяла «способность мыслить самостоятельно, оригинально,— способность, чрезвычайно редко встречающаяся в людях», что, сделавшись революционером, он «не довольствовался господствовавшими шаблонными взглядами». Это тоже шло от его научных занятий — уже в первой своей работе, в конкурсном сочинении, он, по отзыву рецензента, внес нечто свое, новое в область знаний, где крупные ученые Запада успели основательно поработать. Но еще определеннее высказался об этой особенности ума и характера своего друга Чеботарев:

«Строгой логичностью своих умозаключений Александр Ильич отличался всегда, и его не пугал вывод, хотя бы он противоречил обычным нормам, разрушая самые привычные

воззрения, симпатии и убеждения, и даже возмущал привычные чувства. Он строго держался своего логического вывода из раз принятых им посылок и неустрашимо проводил его в жизнь, если даже это угрожало его собственной жизни; он не способен был отступать от своих выводов, что и доказал своей смертью».

Александру так и не удалось его намерение прочитать все произведения Маркса, которые можно было достать в Петербурге. В частности, не удалось прочитать брошюру «К критике политической экономии». В предисловии к этой работе Маркс, вспоминая строфы Данте, писал: «...у входа в науку, как и у входа в ад, должно быть выставлено требование:

Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета».

Эти строки основателя научной теории коммунизма живо откликнулись бы в душе Александра Ульянова. Да, он был бесстрашен в своих выводах, не отступал от них, если только сам не обнаруживал их ошибочность, и неуклонно руководился ими в практической деятельности.

И еще одно обстоятельство, также тесно связанное с наукой, укрепляло его решение отложить в сторону любимое дело и отдать все силы революционной борьбе. Три года жизни в Питере убедили Александра в том, что существующий общественный строй не заинтересован в развитии науки, более того — всячески этому препятствует. «При отношении правительства к умственной деятельно-

сти, которое у нас существует,— говорил он на суде,— невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднена».

Так наука не только склонилась перед политикой, но и помогла последней ускоренными темпами превратить подававшего большие надежды ученого-зоолога в революционера-террориста. Зная характер Александра Ульянова — его смелость, решительность, его высокоразвитое чувство долга, которое, по мнению Анны Ильиничны, было преобладающим в характере брата,— зная все это, мы не должны удивляться, что он нашел в себе силы принести свою любовь к науке на алтарь террора. И критическим моментом был не тот, когда Александр решил рискнуть жизнью, войдя в террористический заговор, а тот, когда он, вырабатывая свои политические взгляды, пришел к мысли о необходимости террора.

Одобрил бы отец его измену науке? Нет, конечно! Для него новая цель, ради которой совершалась измена, была ужасна, безнравственна. Мы знаем это от Анны, рассказавшей о реакции Ильи Николаевича на убийство Александра II. Тут действовало многое — и его отрицание революционных методов вообще, и положительная оценка царствования Александра II, который, как ему казалось, рассеял тяжелый мрак режима Николая I, многозначительно прозванного Николаем Палкиным, и православная вера с ее нравственными догматами, включавшими заповедь «не убий!».

Когда подготовка в террористическому акту подходила к концу, Александр, как и Лукашевич, старался каждую свободную минуту проводить в университетской лаборатории. Хотелось лишний раз глотнуть живительного воздуха науки. Это было мучительно-сладостным прощанием с ней. И оно еще раз обмануло Анну.

Анна Ильинична писала: «Около первых чисел февраля Саша засел опять основательно в зоологический кабинет университета, где стал проводить все утра. Он начал новую самостоятельную работу по изучению органа зрения у какого-то вида червей. Нервная беготня последнего времени как будто прекратилась или, во всяком случае, приостановилась. И я почувствовала большое облегчение...»

А между тем дело быстро приближалось к трагической развязке.

УДАР, ЧРЕВАТЫЙ СМЕРТЬЮ

Александр Ульянов любил науку и ценил самостоятельное творчество не меньше Лукашевича. И все-таки, в отличие от последнего, не наука была для него, уже испытавшего радость первого крупного научного успеха, самым большим препятствием на пути к террору. Тут сказалось несходство их характеров.

«Созданьица», упомянутые Лукашевичем, дороги каждому создателю, и «слышать вопль своих детей, ведомых им самим на казнь», для каждого создателя — что и говорить! — трагедия душераздирающая. Ульянов воспринимал ее как свою личную трагедию, как собственную свою беду. А для науки... Наука может и не заметить этой потери. Найдутся люди, которые, быть может, даже лучше сделают то, что он лелеял в своих планах. Примерно так, если помнить о его неподдельной скромности, должен был думать Александр, навсегда прощаясь с наукой.

Но кто заменит его в семье? Никто! Еще год, другой — и он стоял бы крепко на ногах. Владимиру для этого нужно не менее шести. И память об отце безжалостно корила его за новый выбор жизненной цели.

Илья Николаевич, человек некрепкого здоровья, боялся, что ему вряд ли удастся дослужить до пенсии. Пока он работал, семья не бедствовала, но каждая копейка была в доме все же на счету. Жалованье небольшое, сбережений почти никаких, «и судьба семьи,— писала Анна Ильинична,— все время очень заботила его». Он не раз говорил им, старшим — Анне и Александру, что, окончив гимназию, они должны будут «ставить на ноги меньших братьев и сестер». Теперь отца нет, и мать одна, бог весть как, тащит тяжелый воз скромного и шаткого семейного благополучия. Думать об этом — сердце кровью обливается!..

Илья Николаевич, говоря со старшими детьми об их долге по отношению к младшим, мысленно имел в виду главным образом Александра, на которого привык полагаться во всем. Эта вера возникла и укрепилась еще тогда, когда старший сын пошел в гимназию. Вообще, удивительным было положение Саши в кругу семьи. У всех детей, включая и Анну, он пользовался непререкаемым авторитетом. Володю даже вышучивали за то, что он на любой вопрос о его желаниях много лет отвечал одними и теми же словами: «Я, как Саша». Но и отец с матерью, убедившись в не по годам основательных суждениях Александра, частенько принимали его в свой разговор и прислушивались к мнению мальчика.

«Ко времени поступления в гимназию следующего брата,— рассказывает Анна Ильинична,— Саша — ребенок двенадцати лет —

заявил с той решительностью, которой отличались все его редкие заявления, что не следует отдавать Володю в приготовительный класс, а надо подготовить его к первому. Брат Владимир начал, действительно, школу с первого класса; вероятно, отец с матерью и сами убедились, что лучше по возможности миновать хотя приготовительный класс, но заявление Саши имело, несомненно, значение».

Взрослея, Саша приобретал в глазах отца все больший вес в этом смысле. Юношей он сделался советчиком отца во многих семейных делах, да и не только семейных. Вот почему, задумываясь о старости, о преждевременной смерти, Илья Николаевич видел в Александре такую семейную опору, на которую можно спокойно положиться. Как же отнесся бы он теперь к сыну, своей крепкой надёже, после его безрассудного и ужасного решения? Об этом тоже мучительно было думать. А еще недавно во взгляде Ильи Николаевича, обращенном к нему, Александр часто видел одобрение и даже нескрываемое восхищение.

Из книги Анны Ильиничны нам известен эпизод, связанный с поступлением Александра в Петербургский университет. В этом эпизоде ярко и выпукло отразилось многое — и уступчивость родителей, убежденных Александром в разумности его желания, и горячая благодарность сына, тут же щедро им оплаченная матери, а несколько месяцев спустя и отцу, и редкостная его настойчивость в соблюдении принятых на себя обязательств... Словом, эпизод подобен той капле, которая, по уверению поэтов, способна отразить

целый мир. В данном случае — мир семьи Ульяновых. А суть его в следующем.

Начало лета 1883 года. Сданы на круглые пятерки выпускные экзамены, получены усеянный похвалами «аттестат зрелости» и золотая медаль.

Рад был Александр, по свидетельству Анны Ильиничны, окончанию постылой гимназии чрезвычайно. Предстояло выбрать университет. Родители думали о Казанском, где учился в свое время Илья Николаевич. Казань была близка, в ней жили родичи, все-таки будет присмотр и заботливость о птенце, впервые выпархивающем из роднмого гнезда. Александр решительно заявил, что выбрал Петербургский. Мария Александровна сильно взгрустнула: даль-то какая, чужой город, столица, и туда отпускать житейски неопытного юношу просто страшно. Материнское сердце будто чувствовало, что там, в холодном, сыром Санкт-Петербурге, с сыном приключится страшная беда. Илья Николаевич не смог спорить с доводами сына. Конечно, в столичном университете наилучшим образом поставлено преподавание естественных наук, и со вздохом дал согласие. Марии Александровне пришлось смириться.

Александр растроганно поблагодарил родителей и сообщил, что на все лето договорился уехать в деревню к купцу Сачкову, обучать его отпрыска. Его вообще тяготило сидеть на шее у отца при такой большой семье, к тому же купеческие деньги были уже предназначены для Петербурга. Ведь Александр понимал, что жизнь в Питере значительно дороже

казанской. И надо было как-то компенсировать эту разницу родителям, коль скоро они дали согласие на столичный университет.

Отец, видимо, это почувствовал, сказал, что в состоянии и его, и Анну, поступавшую на Бестужевские курсы, обеспечить скромным, но достаточным прожиточным минимумом. Александр все же настаивал на своем отъезде к Сачкову. Тут уж решительно воспротивилась мать, хотелось напоследок подольше удержать сына около себя. Он, скрепя сердце, вынужден был сдаться. Несколько дней ходил угрюмый, но больше ни звука не проронил — раз уж решено, то и говорить не о чем.

Илья Николаевич определил «прожиточный минимум» в сорок рублей каждому. Александр возразил: ему вполне достаточно тридцати. Отец все же стал посылать сыну сорок, и упорствовавший сын, казалось, смирился. Но через восемь месяцев, приехав в Симбирск на летние каникулы, вручил удивленному и восхищенному отцу восемьдесят рублей.

В высшей степени интересны для характеристики Александра выводы, сделанные Анной Ильиничной из этого эпизода.

«...Такой факт из обыденной жизни, показывающий умение брать стойкие решения надолго и проводить их с неуклонностью, говорит о силе характера гораздо больше, чем иные прямо-таки героические решения на момент. Особенно изумительно это в семнадцатилетнем юноше, только что вылетевшем из семейного гнезда, непрактичном, не то что окруженном соблазнами — их он просто не

замечал,— а долженствующем рассчитывать каждую копейку, каждый лишний кусок, чтобы не выйти из определенного себе бюджета. А он еще болел первую зиму в Петербурге возвратным тифом, после которого иужно усиленное питаиие, ие говоря уже о сопровождающих болезии расходах на врачей и лекарства. Его же питанием, кроме обеда, служил обыкновенно один чай с хлебом. Наконец, сколько книг он охотно приобрел бы для своей работы!»

К выводам Аниы Ильиничны надо прибавить еще один: Александр никогда не принимал решений, не обдумав их основательно. В этом сказывалось еще одно существеиное свойство его иатуры. Десять рублей, от которых он упорно отказывался, были названы тоже не с кондачка. Справедливо, семнадцатилетний новоиспеченный студент был непрактичен, точнее, ие обладал собствеииым опытом самостоятельной жизни. Но ведь можно позаимствовать опыт чужой. Летом в Симбирске легко было сыскать студентов, не один год учившихся в Питере. С их помощью иичего не стоило прикинуть минимальный бюджет питерского студента. А что Алексаидр к ним обращался со своими бытовыми заботами, говорит хотя бы такой факт: еще до отъезда из Симбирска он выяснил, где дешевле и лучше селиться студенту в Петербурге. Вылетая из семейного гнезда, он даже прихватил с собой адресок одиой питерской хозяйки, сдававшей комнаты студентам. Правда, адресок оказался не совсем удачный: далековато от университета. Но через месяц, ие более,

Александр сумел обосноваться на Петербургской стороне, где селилась самая демократическая часть студенчества, где цены на комнаты были самые низкие,— у той самой «старозаветной старушки», которую вспоминала Анна в канун Нового года.

В его трехлетней самостоятельной питерской жизни нельзя сыскать шага, который был бы сделан необдуманно. Вообще, вряд ли сам Александр мог, порывшись в памяти, найти какой-либо существенный поступок, вызвавший своей поспешностью и неосновательностью неодобрение Ильи Николаевича. Но вот теперь, когда он принял самое важное за всю жизнь решение, реакцией отца, несомненно, было бы гневное осуждение.

Мать... Ее образ немым укором, воплощенной мольбой неотступно стоял перед Александром. В тот самый миг, когда впервые явилась ему мысль о терроре, тотчас же явилась и мысль о матери, о горе, которое он, отдаваясь борьбе с царизмом, должен был неминуемо обрушить на ее голову. А он любил ее нежной, горячей любовью, вкладывал в это чувство весь пыл своего юношеского сердца.

Эти последние наши слова нуждаются в пояснении. У некоторых мемуаристов, писавших об Александре Ульянове, можно прочитать характеристику, из которой складывается впечатление, что он был по натуре человеком суровым и мрачным, замкнутым в себе. Вот несколько таких примеров.

Историк, профессор Петербургского университета И. Гревс, учившийся в нем одновременно с Александром, отмечал, что «он был

молчалив и сдержан, что-то было в нем будто суровое или меланхоличное». О суровом и часто даже мрачном выражении лица вспоминал академик Ольденбург.

Публицист В. Поссе, обращаясь к прошлому и вспоминая о собраниях научно-литературного студенческого общества, писал: «Там же появлялась изредка стройная фигура замкнутого в себе молодого зоолога Александра Ильича Ульянова».

Такие люди обычно не склонны к горячим чувствам, им не свойствен сердечный пыл. Если прочитать письма Александра к родителям, главным образом к матери, за три года жизни в Петербурге (до нас дошло их около тридцати), то и они, казалось бы, говорят о том же.

«Милый папа! Благодарю тебя за присланные деньги и письмо».

«Милые папа и мама! Извините, что я немного запоздал с этим письмом».

«Merci, милая мамочка, за все присланное с Анютой».

«Милые мама и папа! Поздравляю вас и всех детей с праздником».

После такого начала шли сухие слова о себе, вроде: «Я совершенно здоров и живу попрежнему». Или о каких-нибудь поручениях: «Нот, о которых просила меня Оля, я не мог купить, так как не нашел их нигде у букинистов». «Посылаю папе брошюрку «Математические софизмы», которую он желал иметь». В письмах нет, кажется, слова, в котором прорвалась бы нежность, дало о себе знать чувство разлуки с родным и любимым человеком.

Нет этого даже в письме, где Александр склоняет перед матерью повинную голову: «Дорогая мамочка! Ты меня упрекаешь, что я редко пишу тебе; я, действительно, запоздал с последним письмом, совсем забыл про него, и оно пролежало несколько дней в кармане пальто. Лекции у нас начались 15-го. Я записался только на обязательные...»

Можно подумать, что письма слал домой воспитанный, знающий свои сыновнии обязанности, внимательный и заботливый, но холодный по натуре человек. По сути дела, так же примерно отзывалась о них Анна Ильинична: «Письма его были обычно кратки, сухо деловиты. В письмах он не умел и не любил выражать свои чувства».

О замкнутости Александра она тоже упомянула однажды в своей книге. Но к слову «замкнутый», как бы разъясняя его смысл, прибавила — «выдержанный». И это лишний раз дает нам возможность понять, насколько тонко она разбиралась в характере брата.

Замкнутый в себе человек — эгоцентрист. Для замкнутого в себе человека окружающая его жизнь как бы не существует и, следовательно, существенного интереса не представляет. «Все свое ношу с собой»,— сказал некий греческий мудрец, имея в виду, что истинным богатством человека является его внутренний мир. Александр, наоборот, был широко распахнут перед внешним миром. Проницательно подметил это Брагинский, сказав, что Ульянову пришлось жить в эпоху, окутанную «густою мглою общественной и полити-

ческой реакции», однако «его глубокая вдумчивость, его необыкновенная чуткость помогали ему улавливать сильно приглушенные этою мглою, но все же доходившие до него голоса жизни». Все, кто считал Александра замкнутым, именно этим объясняли его обычную молчаливость в обществе, его немногословность даже, когда вокруг бушевал студенческий спор. На самом же деле он помалкивал потому, что было интересно знать мнение других. Желание и умение слушать собеседника, особенно когда он не согласен с тобой,— дар, не часто встречающийся. Александр обладал им в полной мере.

Нет, не замкнутым, а в высшей степени сдержанным в проявлении чувств и убеждений, «выдержанным», как сказала Анна Ильинична, человеком был Александр Ульянов. Его натура была подобна плавильной печи. Она жадно принимала «сырье» внешнего мира и расплавляла его на высоком градусе интеллектуального и эмоционального огня. Этот бурлящий и кипящий процесс оставался скрытым для многих, как скрыта для постороннего, непрофессионального взгляда работа стихий в недрах плавильного устройства. Лишь иногда, чаще всего в катастрофических случаях, стихия расплавленного металла вырывается наружу, делаясь зримой и для постороннего наблюдателя.

Такие «выбросы» бывали и у Александра. Но для того чтобы сквозь броню выдержки прорвался огонь его души, требовались какие-то исключительные обстоятельства. Прорвался он, например, когда Анна принесла слух

об аресте Салтыкова-Щедрина. Так было во время добролюбовской демонстрации, когда он чуть ли не с кулаками набросился на генерала Грессера. Так было, когда вся сила и трепетность его любви к матери вырвалась наружу на первом свидании с ней в тюремной обстановке.

Анна Ильинична, со слов Марии Александровны, рассказывала, что брат «плакал и обнимал ее колени, прося простить причиняемое ей горе». Александр был не только сдержан, но и стыдлив в проявлении своих чувств. Но этому исключительно сильному эмоциональному порыву не помешала даже фигура судейского чиновника, присутствовавшего при свидании.

Само собой разумеется, Марию Александровну никогда не обманывала сдержанность старшего сына. Она знала и чувствовала его горячую любовь. К тому же это его чувство изредка все-таки приоткрывалось.

В книге Анны Ильиничны есть об этом мимолетное упоминание, связанное с его приездом в Симбирск после первого года учебы в Питере: «Он уже поздоровался со всеми, его обступили меньшие. Но вот он снова повернулся к матери и крепко, с молчаливым горячим порывом обнял ее. Помню, с какой растроганной радостью отвечала на его объятие мать; ясно помню прекрасное, все какое-то светящееся выражение его лица».

Но теперь, когда он, решившись на самопожертвование, готовился нанести ей страшную, может быть, смертельную сердечную рану,— теперь открыла бы она руки для

материнского объятия или была бы так же сурова и непреклонна, как отец?

В любви Александра к матери, кроме естественного, с младенческих дней возникающего чувства кровного родства, таилось явившееся уже в пору юности восхищение ею как человеческой личностью, равно таилась и благодарность за формирование его собственной личности.

Илья Николаевич, часто находившийся в разъездах по губернии, загруженный своими многотрудными обязанностями директора народных училищ, не мог уделять много времени воспитанию детей. Эта семейная обязанность лежала главным образом на плечах Марии Александровны. Стесненный в средствах, ее отец, врач по профессии, мог дать дочери лишь домашнее образование. Но еще до замужества она сама сумела так пополнить свои знания и развить свои интеллектуальные потребности и вкусы, что была во всеоружии, когда настало время учить и воспитывать детей. Обремененная хозяйством, она все же ухитрилась отводить для этого вполне достаточное время. Каждого научила читать с малых лет, привила всем любовь к книге, заронила и развила любовь к музыке. Наконец, она разными способами, в том числе и собственным примером, укоренила в сознании детей моральные принципы, особенно главный из них — неукоснительно следовать велениям долга. И за это Александр был ей более всего признателен.

«...Все в семье (в том числе и Владимир Ильич),— писала самая младшая в семье

Ульяновых, Мария Ильинична,— очень любили Александра Ильича и старались равняться по нему. Нравственный облик его был очень высок. Характерно, что, еще будучи мальчиком 11 лет, на вопрос старшей сестры: «Какие пороки самые худшие?» — он, не задумываясь, ответил: «Ложь и трусость»».

Сочинение на тему «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству» гимназист Александр Ульянов начал следующими словами: «Для полезной деятельности человеку нужны: 1) честность, 2) любовь к труду, 3) твердость характера, 4) ум и 5) знание». Далее шло развитие и логическое обоснование выставленных автором тезисов. Поражает в этом сочинении пятнадцатилетнего юноши не только зрелая система нравственных принципов, но и стройность изложения мыслей, чеканность формы, в которую они заключены. Все предельно ясно, убедительно и кратко, ни одного лишнего слова!

Александр был обязан матери еще и тем, что она привила ему, как и остальным детям, навыки к физическому труду. Целой школой таких навыков была для детей рождественская елка, самое заманчивое из всех зимних удовольствий.

Задолго до рождества под руководством матери все они, от мала до велика, принимались резать, клеить, красить, золотить и серебрить — мастерить елочное убранство. Так уж было заведено Марией Александровной, что ничем покупным, кроме разноцветных свечей, не украшались разлапистые ветви дерева.

Эти трудовые навыки очень пригодились Александру в дальнейшей жизни. Сначала — при оборудовании кухоньки-лаборатории. Потом — в университете. Опыт, копившийся с детских лет, помог быстро освоить тонкое дело препарирования и микроскопического исследования кольчатых червей. Сослужит он службу и позже, когда Александр возьмется за изготовление динамита, а потом за работу еще более опасную — начинку оболочек бомб взрывчаткой, отравленными пулями и хитроумным запалом,— работу, где малейшая невнимательность, неловкое движение рук грозили катастрофой. Так, неожиданно и причудливым образом, материнское воспитание окажет помощь делу, в котором сын найдет свою погибель и, может быть, погубит мать. О таком исходе Александр не мог не думать, и было от чего мутиться рассудку.

«Я знала, что больше его не увижу,— рассказывала впоследствии сама Мария Александровна.— Не знаю, как пришла домой и легла. Чувствовала, что жить больше не могу, нет силы жить. Никаких мыслей в голове, одно желание скорее, скорее умереть, чтоб ничего не чувствовать».

Согласимся еще раз с Анной Ильиничной: более всего удерживала Александра от террора мысль о матери. Но тут же следует сказать, что его решение стать на путь революционной борьбы, сделаться участником террористического заговора возникло не без влияния отца и особенно матери. И опять-таки в этом нет и следа парадоксальности.

Как понять удивительную семью Ульяно-

вых? Как объяснить тот факт, что у родителей — людей свободолюбивых, но далеких от революционных идей — все дети, если не считать рано умершей Ольги, связали свою судьбу с революционным движением?

Известны случаи, их было немало, когда сыновья и дочери богатых дворян-помещиков или крупных чиновников царской администрации уходили в революцию, становились, в частности, террористами. Такова, например, была Софья Перовская, дочь генерала, петербургского губернатора. Но в таких случаях между родителями и детьми шла глухая борьба, дети противились родительскому воспитанию, поднимали бунт, на родительские проклятья отвечали разрывом, уходом из семьи. Ничего этого и в помине не было в семье Ульяновых. И не случайно не было. Воспитательные принципы Ильи Николаевича и Марии Александровны сами по себе не направляли детей на революционную дорогу. Однако в сочетании с определенными воздействиями общественной жизни они сильно способствовали тому, что дети избирали именно эту дорогу. Принципы воспитания были почвой, на которой семена революционных идей всходили легко и давали богатый урожай, а семена поставляла сама действительность — угнетение и бесправие народа в условиях оголтелой реакции, исключавшей не только политическую пропаганду, но и элементарное просвещение народных масс.

Когда одиннадцатилетний Саша, отвечая на вопрос сестры, говорит, что худшие из пороков — ложь и трусость, тут сказываются

принципы воспитания. А когда студент Александр Ульянов приходит к мысли о необходимости революционной борьбы, такая нравственная заповедь служит революционной закалке.

Если бы Илья Николаевич был в живых, когда Александр сделался террористом, если бы у него произошел об этом разговор с сыном, то на его гневную отповедь сын, как всегда спокойно и рассудительно, наверно, ответил бы: «Вы оба с мамой приучали меня с детских лет правилу — не уклоняться от исполнения своего долга». Он напомнил бы отцу, как тот, повинуясь им самим установленному долгу, пожертвовал любимым делом — преподаванием и стал организатором и администратором школьного дела. Александр ответил бы и на реплику отца, что террор, убийство человека, пусть даже тирана,— поступок ужасающе безнравственный, а безнравственное дело не может быть долгом. Он сказал бы отцу, что тот всегда приучал его уважительно относиться к чужим мнениям, как бы они ни отличались от собственных. И даже напомнил бы отцу, сколь деликатно поступил тот, когда сын, разуверившись в религиозном учении, отказался от устоявшейся традиции ходить вместе с отцом по субботам в церковь ко всенощной службе: отец, позвав Александра еще раз или два после первого отказа, больше о церкви уже не заговаривал.

Читатель может подумать, коль скоро этот спор написан в условном наклонении, что тут автор ударился в «художественную фантазию». Ничуть не бывало! Суть спора мож-

но найти в книге Анны Ильиничны. Приведем только два маленьких отрывка.

«Огромным фактором в воспитании было то, что отец являлся не чиновником, как подавляющее большинство служащих того времени,— писала Анна Ильинична,— а идейным работником, не жалевшим трудов и сил на борьбу за свои идеалы. Дети... рано научились понимать, что дело — это нечто высшее, чему все приносится в жертву».

Именно в этой домашней науке Александр обрел силы, чтобы в жертву террору принести не только науку, но даже и семью. Плача, обнимая колени матери на свидании в тюрьме, умоляя простить причиняемое ей горе, он говорил, что «кроме долга перед семьей у него есть долг и перед родиной». «Он рисовал бесправное, задавленное положение родины,— писала Анна Ильинична со слов матери,— и указывал, что долг каждого честного человека бороться за освобождение ее.

— Да, но эти средства так ужасны! — возразила мать.

— Что же делать, если других нет, мама? — ответил он».

Заметьте, читатель, Мария Александровна не спорит с тем, что предпочтение отдано долгу перед родиной, не перед семьей. Оно и понятно. В таких именно нравственных правилах воспитывались дети. Но для нее неприемлемы, ужасны средства, коими сын собрался достичь намеченной цели. Других же она предложить не могла.

РАЗГОВОР, ПЕРЕВЕРНУВШИЙ ВСЮ ЖИЗНЬ

Итак, идея цареубийства носилась в воздухе.

Но одно дело идея. О ней нетрудно поболтать с надежным товарищем, даже проявить при этом пылкие эмоции, а дальше не сделать и шагу, чтобы превратить ее в дело. Александру доводилось решительно осаживать людей, которые в подпитии, а то и в трезвом состоянии пытались предаваться террористической маниловщине. Дальнейших встреч с ними Александр старался избегать. Даже не только потому, что опасался провокации или настороженного царева уха. Его характеру была просто несносна всякая праздная болтовня, а на такую тему — тем более.

Совсем иное — реализация идеи. Террор требовал осмотрительных поисков единомышленников. Можно было нарваться на трусливую душонку, которая при малейшей тревоге станет доносительствовать. С другой стороны, можно поставить в неловкое положение порядочного человека, которому, оказывается, чужда идея террора. Чего доброго, он тебя самого заподозрит в осведомительской деятельности. Как ни был зелен террорист Ульянов, он эту азбуку понимал.

Террор требовал настойчивой, небезопасной слежки за царем, все еще остерегавшимся покидать стены Гатчинского дворца. К этой стороне дела Александр просто не знал, как подступиться. Наконец, террор требовал сложной материальной подготовки — поисков денежных средств, квартир, где было бы удобно и безопасно готовить и хранить изготовленные бомбы или иные средства, пригодные для покушения.

В уме все складывалось в отчетливый план, а как приступить к его реализации? Между тем у Александра идея, заманчиво требующая реализации, и, вообще говоря, любое слово, в том числе слово, данное самому себе, немедленно, так сказать, в принудительном порядке, заставляли действовать практически. Если уж двинулось зубчатое колесо террористической идеи, то должна была прийти в движение и зубчатка практической подготовки террористического акта. Но прошел целый месяц в бесплодных попытках поставить замысел на деловую почву. Все решил случай.

Во второй половине декабря — более точно определить время невозможно,— когда на квартире у Александра, в отсутствие Чеботарева, был Орест Говорухин, зачастивший к нему после добролюбовской демонстрации, явился студент Петр Шевырев. Он тоже с этого времени стал частым гостем в квартире Ульянова и Чеботарева. Завязавшийся между ними разговор сначала был, как говорится, о том, о сем, а в общем-то ни о чем. Затем, внезапно для каждого из участников и словно по

крутой наклонной плоскости, скатился к террору. Однако, прежде чем воспроизвести разговор, коренным образом изменивший жизнь Александра Ульянова и сосредоточивший всю его огромную энергию на реальной подготовке террористического акта, необходимо представить читателю двух из трех собеседников — Говорухина и Шевырева.

Студент Орест Говорухин, однокурсник Александра, был в это время наряду с адмиральским сыном студентом Сергеем Никоновым самым близким товарищем Ульянова. Месяц, истекший со дня добролюбовской демонстрации, сблизил Ореста Говорухина с Ульяновым настолько, что никаких секретов политического характера между ними не было. Вели они разговоры и о терроре, но, так сказать, принципиального характера — целесообразен ли террор вообще, при каких условиях его полезность несомненна. Поскольку они вместе принялись изучать марксистскую литературу, теоретическая сторона дела вызывала жгучий интерес. К тому же Говорухин, так же как Ульянов, не располагал ничем, что могло бы поставить идею террора на рельсы практической деятельности.

В террористической организации его судьба сложилась своеобразно. Он был сразу же включен в руководящую группу участников заговора. (Шевырев, что для него характерно, именовал ее «центральным кружком», хотя никакой «периферии» и вообще никаких других участников на первом этапе организации не было.) Кончил же Говорухин свое участие в заговоре побегом за границу почти на-

кануне первого выхода бомбометателей на Невский, буквально — за пять дней.

В мемуарной литературе нельзя найти никаких следов его личного участия в подготовительной работе террористической группы. Нет их фактически и в реферате, который он вскоре после появления за границей прочитал перед революционерами-эмигрантами, и в воспоминаниях, написанных и опубликованных через сорок лет на страницах журнала «Октябрь». Однако и в реферате, и в «Воспоминаниях о террористической группе А. И. Ульянова» Говорухин все время пытается выставить себя на первый план. Надо прямо сказать, роль Говорухина в группе была незавидная, а его мемуары не лишены серьезных противоречий и не отличаются строгим обращением с фактами. Никонову и Анне Ильиничне было нетрудно показать это, когда они резко критиковали и статью Говорухина в «Октябре», и редакцию журнала за ее публикацию без тщательной проверки.

Анна Ильинична не питала к Говорухину добрых чувств. Она и не скрывала этого в своей книге. Однако ее общая оценка ближайшего товарища брата была вполне объективной.

Не жаловала она в своих воспоминаниях похвалами и Петра Яковлевича Шевырева. Отчасти эту неприязнь следует отнести за счет некоторых несимпатичных ей особенностей внешнего поведения последнего — его раздражающей суетливости, быть может, объяснявшейся болезнью, острым туберкулезным

процессом в легких, его манеры часто смеяться заливистым, высоким хохотом, его любви «трещать по пустякам». Но, конечно, в основе лежало осуждение отъезда Шевырева из Петербурга в Ялту за восемь дней до первого выхода метальщиков и сигнальщиков на Невский проспект. Он уехал скоропалительно, ссылаясь на обострение болезни, и свалил дело, которым руководил, на плечи Александра, даже не ознакомив его с тем, как подготовлен с организационной стороны террористический акт, кто и за что в группе ответствен. Наконец, готовя к публикации сборник документов, хранившихся в архивных делах департамента полиции и охранки, Анна Ильинична окончательно убедилась, что шевыревский характер сыграл злейшую роль в судьбе террористической группы.

Петр Шевырев, близко сойдясь с Лукашевичем, однажды признался ему, что он перевелся из Харьковского университета в Питерский не по соображениям лучшей постановки здесь преподавания естественных наук. Им руководило намерение организовать покушение на жизнь Александра III. А где же легче его осуществить, если не в столице? Надо думать, Шевырев говорил с Лукашевичем как на духу, потому что тут же спросил Лукашевича — не согласится ли тот принять участие в таком деле?

Лукашевич ответил согласием. Он и сам подумывал о террористическом акте. У него даже разработана конструкция бомбы, по внешности ничем не отличающаяся от толстой книги. Кое-какие соображения созрели и на-

счет того, как улучшить запал, сконструированный народовольцем Кибальчичем. Шевырев в свою очередь поделился своими соображениями о том, как он думает подбирать людей, пригодных для участия в террористической деятельности. Для этого надо создать такие общественные студенческие предприятия, например дешевую столовку, где бы люди встречались охотно и ежедневно, сближались бы, проникались товарищеским доверием друг к другу. Эти организации сыграли бы роль надежного сита для отбора будущих членов террористических групп.

Шевырев говорил именно о группах, а не об одной. В его планы входило намерение создать такие группы не только в Питере, но и в Москве, Харькове... Словом, мыслилась мощная и разветвленная организация. Шевырев говорил об этом так горячо и вместе с тем так деловито, что Лукашевич с первого откровенного разговора уверовал в его организаторский талант. Даже после выхода из шлиссельбургского заточения, когда ему стали уже известны многие обстоятельства, приведшие к провалу их первой и единственной группы, он писал в своих воспоминаниях о Шевыреве: «Это был очень энергичный, предприимчивый и талантливый организатор». Между тем Шевырев на самом-то деле был по своей природе не организатором, а типичным инициатором. Он действительно с жаром брался за какое-нибудь предприятие, быстро пускал его в ход и вскоре, охладев, сбывал в чьи-то руки, а сам устремлялся к следующему. Эта черта его непоседливого характера, как увидит

дальше читатель, была одной из главных причин гибели террористической группы.

Вернемся теперь к разговору, который вели Шевырев и Говорухин с Ульяновым в его квартире. Будем и здесь придерживаться документальной основы. Ею послужит нам запись беседы, сделанная Говорухиным по горячим следам — в его заграничном реферате, написанном вскоре после полученного известия о казни основных участников заговора. Запись эту Говорухин перенес и в свои воспоминания, опубликованные в журнале «Октябрь».

Шевырев разговор о пустяках перевел на любимую им тему — организацию студенческих предприятий, подобных кассе взаимопомощи, столовой, уютной библиотеке с читальней, где свежие газеты и журналы, а для некоторых особо надежных — запрещенные издания привлекали бы студенческую массу.

Александр, испытывая скуку, деликатно прервал его разглагольствования. Тоном, в котором чувствовались легкая досада и недоумение, сказал:

— Охота вам, Петр Яковлевич, тратить вашу неуемную энергию на такие мелочи. С вашим организаторским талантом можно было бы устроить кое-что посолиднее.

Шевырев помолчал, потом, остро взглянув на Ульянова, спросил:

— А что, например?

Этот взгляд Шевырева, притушенный сейчас же словами, в которых как будто не содержалось ничего, кроме простого любопытства, был для Александра словно толчок. Неожиданно для себя он сказал:

— Да, напрнмер, покушенне.

Две-три секуиды в комиате стояла тягостиая тишина, точно все в ией застыло в иапряжеииом ожидании. Потом раздался заливнстый хохоток Шевырева. Откндываясь на спинку днваиа и все еще похохатывая между словамн, он броснл:

— Где уж иам уж... выйти замуж. Я довольствуюсь столовой, кассами и прочнми мелочамн... Покушение!.. Куда там!.. Из меня террорист, как из мякнны сдобная булочка...

Шевырев балагаиил, Александр и Говорухни поиялн это, ио по-разному: Говорухии не углядел досады, может быть, даже обнды в паясничаини Шевырева; Алексаидру, иапротнв, сразу же стала ясиой горечь шевыревскнх слов. Резко оборвав хохот, Шевырев сказал:

— Ну, ладио. Вы подбивали меия на откровениость. Стало быть, я тоже нмею право задать откровенный вопрос и ждать откровеииого ответа. А у вас есть дело? Есть организацня?

Алексаидр, удержав жестом Говорухниа, рассеял шевыревскую обиду. Он ответил:

— Нет, Петр Яковлевнч. У нас дела, к сожалеиию, нет. Но и ие в шутку было сказано о покушеини.

— Тогда я еще спрошу. А вы оба?.. Еслн бы я сказал, что дело есть, есть организацня, вы оба согласнлнсь бы войти в нее? Прнзнаться, ие первый деиь хочется мие задать вам этот вопрос.

Ульяиов и Говорухии были ошеломлеиы.

Шевырев понял это, на его губах появилась легкая, с оттенком ехидства улыбка. Выдержав паузу, он сказал:

— Я не ошибаюсь, видимо, в вашем сочувствии. Но дело серьезное. Давайте поступим так. Обдумайте недельку-другую и тогда дайте мне окончательный ответ... Послушайте еще вот о чем...

И он, несколько менторским тоном, стал объяснять, что подготовка покушения может быть расчленена на четыре вида деятельности. Во-первых, доставка сведений о царе, его привычках, распорядке жизни, особенно — о его выездах из дворца, маршрутах и так далее, а также организация систематической слежки за ним. Во-вторых, добывание денежных средств. В-третьих, технические работы, то есть изготовление метательных снарядов. В-четвертых, организация метальщиков и сигнальщиков.

«Когда он предложил нам первую категорию работ, мы стали в тупик,— писал Говорухин.— Всем было известно, как остерегался Александр III, как он изменял планы своих поездок и как вообще держалось в секрете все, что касалось жизни царя. Когда мы высказали Шевыреву, что эта задача для нас трудна, почти невыполнима, он заметил: «Да, для вас! Я этого ожидал». Затем он предложил нам обдумать относительно работ третьей и четвертой категорий. Мы согласились, и он ушел».

Александр и Говорухин, обсуждая между собой неожиданное предложение Шевырева, решили, что на второй встрече они прежде

всего должны расспросить Шевырева подробно, что собой представляет группа или организация, куда им предложено войти. Кто в нее входит, каковы конкретно ее планы.

Шевырев вторично встретился с Ульяновым и Говорухиным через неделю. На этот раз он держался несколько иначе. И речь его, и вся повадка как бы говорили: это я приглашаю вас в свою организацию, это мне принадлежит в ней место главного организатора и руководителя, следовательно, за мной и право направлять беседу. Однако Александр перехватил инициативу и задал подготовленные вопросы.

Шевырев начал с планов. Говорил охотно и даже многословно.

— Прежде всего, главный принцип. Единичный террористический акт, даже если он направлен на царя, ощутимых результатов не принесет. Нужен систематический террор.

— Это и наше убеждение,— одобрительно сказал Александр.

— Поэтому мы намерены,— продолжал Шевырев,— осуществить серию покушений. Разумеется, прежде всего на вашего венценосного тезку, Александр Ильич. Затем на министров, на идейный оплот реакции — Победоносцева и Каткова, на великих князей Владимира и Николая, на наследника...

Александр не удержался от реплики:

— И на все это грандиозное предприятие у группы есть реальные силы? Кто же они?

Шевырев посмотрел на него с подчеркнутым недоумением. Снисходительно объяснил:

— У нас порядки в организации строгие.

Каждый знает только то, что иеобходнмо для выполнения поручеииой ему работы.

Александр продолжал иастаивать:

— Дело-то, Петр Яковлевич, такое, что может стоить жизии. А вы хотите, чтобы мы вошли в иего с завязаииыми глазами.

Шевырев взял нз стопочкн бумаги, лежавшей у Александра на столе, лнсток, прнхватнл карандаш и иапнсал: «А. А. А. ... метальщикн — сколько угодно, Б. Б. Б. ... сигиальщикн — сколько угодио, В. В. В. ... хнмнкн — н нх сколько угодио». На словах добавил:

— Денежных средств тоже сколько угодио.

— Извинпте, Петр Яковлевич,— сказал, помрачнев, Александр,— но прн таких условнях я, к глубокому моему сожалеиию, не счнтаю возможиым войтн в органнзацию.— Он повернулся к Говорухииу.— А ты, Макарыч?

Говорухин кивнул головой. Шевырев развел руками, как бы говоря: «На нет н суда нет». И подиялся.

— Подождите,— сказал Александр.— Мы оба глубоко сочувствуем вашему начинанию. Мы н сами подумывали о том же. Дайте нам еще иесколько дней для размышлення... скажем, трн.

Шевырев согласнлся н ушел.

Александр сказал Говорухиу:

— Попытаюсь за три дня что-ннбудь разузнать.

Ои задумался. Как-то не верилось, что у него, можно сказать, под боком существует

могучая, явно студенческая, организация, а он, тесно связанный с активной частью студенчества, ухитрился ее проморгать.

Угадывая его мысли, Говорухин решительно произнес:

— Чего там! Обычная шевыревская мистификация. Любит Петр Яковлевич пустить пыль в глаза... А проверить как?

Александр думал о Лукашевиче, ближайшем друге Шевырева. Последнее время, часами работая бок о бок в университетских лабораториях, Александр и Лукашевич сблизились настолько, что стал возможен предельно откровенный разговор. Неужели Лукашевич ничего не скажет?

Александр в Лукашевиче не ошибся, и выяснилось, что мощная организация, якобы готовящая десяток — полтора террористических актов, состояла из... трех человек — Шевырева, Лукашевича и еще одного студента, который перевелся в Петербургский университет из Казани с единственной целью — совершить единолично покушение на Александра III. Впоследствии оказалось, что им был Василий Осипанов. Ему, человеку мужественному, как бы рожденному для террористической борьбы, выпала ответственная роль — возглавлять в группе метальщиков.

Ульянов и Говорухин решили: в группу не входить, однако и не отказываться от выполнения отдельных поручений. Но компромисс этот быстро превратился в фикцию. Уже в середине января, и без каких-либо шагов со стороны Александра, его влияние на дела группы, его авторитет возросли настоль-

ко, что фактически он стал вторым после Шевырева лицом среди участников заговора. Когда в группе возникли трения и даже конфликты, он оказался в роли арбитра, с мнением которого Шевырев был вынужден считаться. 17 февраля, в день отъезда Шевырева в Ялту — отъезда, который впоследствии и Говорухин, и Сергей Никонов справедливо назовут бегством,— Александр Ульянов уже формально стал единоличным руководителем террористического заговора.

Трудно понять непростительный поступок Шевырева. Его нельзя оправдать обострившимся туберкулезным процессом — до выхода метальщиков оставалось девять дней, и, как бы ни был болен Шевырев, за этот срок ничего катастрофического с его здоровьем случиться не могло. Трусость, попытка улизнуть от ареста, виселицы? И это объяснение, на наш взгляд, невозможно признать правильным. Прежде всего, Шевырев был человеком смелым, обладавшим незаурядной волей, что и доказал в минуту такого испытания, как казнь. Если бы он намеревался бежать, как Говорухин, спасая свою жизнь, то ему, при его предприимчивости, это было бы по силам. В Крыму нашлись бы контрабандисты, чтобы морем доставить Шевырева куда-нибудь за пределы досягаемости карающей руки царского правительства. Гадать не имеет смысла. Гораздо важнее указать, что дело, неожиданно сброшенное им на плечи Александра, зияло далеко не одной серьезной организационной прорехой, и все они были вызваны единственной причиной — непригодностью

Шевырева как организатора. По крайней мере в качестве организатора такого сложного и тонкого дела, каким является террористический заговор.

Жестоко ошибались и жестоко поплатились те, кто, участвуя в заговоре, верили в его организаторский талант. Нельзя признавать такой талант за человеком, который не умеет подбирать для дела людей и тщательно испытывать их пригодность, не может создать атмосферу для дружной работы. Отсутствие у руководителя таких качеств неминуемо ведет к провалу. И это лишний раз подтвердила трагическая судьба Александра Ульянова и его товарищей, в том числе и самого Шевырева...

Посмотрим, кого привлек в свою «обширную» и «строго законспирированную» организацию Петр Шевырев.

Двое из метальщиков — Пахом Андреюшкин и Василий Генералов — были рекомендованы ему Говорухиным и Ульяновым и вели себя во время следствия и суда так же безупречно, как бестрепетно отдали свои головы в руки палача. Лукашевич, этот главный химик и конструктор метательных снарядов, этот Кибальчич вторых «первомартовцев», столь же был отыскан Шевыревым, как и последний был отыскан самим Лукашевичем. Никонова привел в группу Ульянов. Третий метальщик, Осипанов, оказался в числе заговорщиков, можно сказать, случайно. Шевырев и Лукашевич пытались вовлечь в дело студента Зверева. Тот решительно отказался, но назвал им фамилию Осипанова.

Шевырев привлек в группу лишь трех людей. Все они никогда и не помышляли о терроре. Более того, им было абсолютно чужда идея революционной борьбы. Один из них, расторопный Канчер, являлся правой рукой Петра Яковлевича по управлению студенческой столовкой. Слабовольный, трусливый, послушный во всем Шевыреву, он, подавляемый напористой волей последнего, согласился участвовать в подготовке покушения, полагая, как потом говорил на суде, что дальше разговоров дело не зайдет. Тем же манером был притянут к заговору Горкун, студент, живший в одной квартире с Канчером. Но поистине фантастическим персонажем являлся среди участников заговора некий Волохов. 1 февраля, по совету Канчера, он, исключенный за полную неуспеваемость из гимназии родного города, приехал в столицу, чтобы доучиваться в частной гимназии, куда принимали любого оболтуса, если тот готов платить немалую мзду за обучение. На первых порах жизни в Питере Волохов ночевал у Горкуна и Канчера. И вот Шевырев, трижды мельком видевший у них Волохова, не задумываясь и никак не проверяя его сам, накануне отъезда в Ялту поручает Канчеру вовлечь этого тупого юношу в группу на роль сигнальщика.

Повторяем, Шевырев был искренним революционером. Единственной причиной, причиной подлинной, невыдуманной, заставившей его перевестись в столичный университет, было намерение организовать покушение на царя. В университете он фактически не учился. Вся его энергия сосредоточилась на организации

заговора. Ои был смел и решителен, он был удачлив н нзобретателеи как зачинатель всех своих предпрнятий, но быстро к иим охладевал. Как организатор н руководитель террорнстической группы, он стал ее злым геннем. Сигнальщики, найдеииые им, ревностио выполнили свою роль, но лишь в охраике, протрубив здесь с первой же миииуты первого допроса все, что нужно было следствию.

Повннен был Шевырев перед товарнщамн и в действиях, справедливо названных «нечаевскнми». Чтобы было понятно, о чем шла речь, напомиим читателю, кто был Нечаев.

Заговорщнк авантюристического пошиба, Сергей Нечаев руководился следующим нравственным прннципом: революцноиеру дозволительно все — ложь, обмаи, шаитаж, угрозы, применнмые ие только к врагам, но н к товарищам по революциоииой борьбе. Все, вплоть до убийства, которое ои и совершнл однажды, все — благо, еслн делается для блага революцноиных целей.

У Пахома Аидреюшкнна был друг, земляк — студеит Рудевнч, который, частенько бывая у него на квартнре, случайио сделался помощнико в приготовленнн азотиой кислоты. Сиачала ои был увереи, что участвует в химических упражиениях Пахома. Потом, из признаинй последиего, выяснил, что помогал готовнть сырье для динамнта. Аидреюшкни не скрыл и того, что состоит в террористнческой группе, что ему предназначено быть одним нз метальщнков бомб. Рудевич возмутился таким вероломством товарнща. Андреюш-

кин, оказавшись в трудном положении, обратился к Шевыреву. Шевырев решил сам урегулировать конфликт. Он встретился с Рудевичем и в ультимативной форме предложил последнему продолжать изготовление кислоты, пригрозив, что в противном случае группа вынуждена будет «сплавить» его. Тогда возмутился Андреюшкин и, спасая друга, обратился за помощью к Ульянову. Александр Ильич, писал Говорухин, протестовал против этого «нечаевского» способа действий и убедил Шевырева отправить Рудевича, если он этого пожелает, за границу. Шевырев уступил Ульянову, даже достал нужные средства для бегства Рудевича.

Примерно в это же время Александр стал приходить к выводу, что подготовка к покушению идет плохо, в недопустимой спешке, вызванной скорым отъездом царя в Крым на все лето, и предложил Шевыреву отложить покушение на осень.

«Как, откладывать?— запротестовал Шевырев.— Да ты, Ильич, уверен, что тебя завтра не возьмут? А я? Да кто из нас может поручиться, что он проживет до осени? Далее, если слабый попадется правительству да проговорится, тогда всем нам конец. А за что? За хотение? Будь, что будет, но вперед!»

Мы привели эти строки из воспоминаний Говорухина, не сомневаясь, что они точно передают факты.

Все решила позиция метальщиков. Они поддержали Шевырева. Их голос имел огромный вес, так как всем было ясно, что они-то идут на верную смерть, у остальных все же

есть хоть маленький шанс скрыться. Александр, вообще привыкший не отступать от дела, за которое брался, вынужден был смириться, хотя и предвидел, что покушение почти обречено на провал. Когда Шевырев уехал, он энергично взял бразды правления в свои руки, одновременно продолжая помогать Лукашевичу в изготовлении динамита, гремучей ртути, отравленных пуль, вместе с ним испытывал за городом запалы и начинял оболочки бомб взрывчатым веществом. Но он не знал, да и не мог знать, какая страшная беда уже нависла над всей группой.

Генералов был человеком стойкого мужества. Его тревожила лишь одна мысль: он боялся промахнуться, бросая бомбу в царскую карету. Осипанов удивлял всех необыкновенной выдержкой и трезвым, расчетливым подходом к делу. Иным по характеру был Андреюшкин.

«Андреюшкин,— писал Говорухин,— по внешности напоминавший сурового казака Тараса Бульбу, проявлял, однако, некоторую сентиментальность. Он иногда заходил к моей соседке Шмидовой и по ее просьбе мастерски пел за душу хватающим голосом малороссийские песни. Слушая его песни, я удивлялся тому богатству чувств, которые таились в этом на редкость мужественном человеке. Как известно, этот сентиментализм Андреюшкина привел к провалу всего дела, к неудач покушения».

Но то, что Говорухин именует «сентиментализмом» Андреюшкина, на самом деле было преступным легкомыслием, вызванным чи-

сто ребяческой похвальбой. Судите сами, читатель.

20 января 1887 года Андреюшкин послал письмо харьковскому студенту Ивану Никитину, в котором содержались такие строки:

«...Возможна ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет и даже не в продолжительном будущем... Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек...»

Петербургский «черный кабинет», ведавший перлюстрацией писем, отослал письмо Андреюшкина адресату, а копию — в департамент полиции, который, поскольку подпись в письме была неразборчива, предложил 28 января начальнику жандармского управления Харьковской губернии установить, допросив Никитина, кто автор письма. Лишь через месяц, 27 февраля, после вторичного запроса был получен ответ: автор письма — студент Петербургского университета Андреюшкин. С этого момента и началась слежка, которая закончилась 1 марта арестом всех метальщиков и сигнальщиков в день их третьего выхода на Невский проспект.

Письмо Никитину было не единственным, где Андреюшкин горделиво сообщал о своей причастности к террору. Два таких письма, частично писанных «симпатическими» чернилами, получила екатеринодарская народная учительница Анна Сердюкова, жестоко за них расплатившаяся на суде вместе с терро-

ристической группой. Как знать, если бы не этот эпистолярный зуд Андреюшкина, третий выход метальщиков мог бы завершиться их триумфом.

1 марта с утра Ульянов и Лукашевич нетерпеливо и долго ждали вестей. В городе царило спокойствие. Александр понял, что покушение, по-видимому, не состоялось и что товарищи, вышедшие на Невский, схвачены полицией. Все ли? Кому-то, может быть, удалось избежать этой участи, скорее всего — сигнальщикам. Александр попросил Лукашевича пойти в студенческую столовку, выяснить что-нибудь там. Сам же пошел на квартиру Канчера.

Неужели ему не пришла в голову простая мысль, что в квартире оставлена засада? По нашему убеждению, Александр понимал это и шел на встречу с полицией сознательно. Отвечая позже на вопрос судейских чиновников, почему он не последовал примеру Шевырева, скрывшегося в Ялту, или Говорухина, бежавшего за границу, Александр сказал: «Я не хотел бежать, я хотел умереть за несчастную родину».

В квартире Канчера на него навалилась орда трусливых полицейских, опасавшихся, что этот террорист, не дай бог, пустит в ход метательный снаряд.

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

День ареста и следующий прошли в томительном ожидании допроса, но Александр провел их не попусту. Он приводил в порядок свои мысли. Кусочек жизни, который был еще в его распоряжении, он должен прожить разумно и с наибольшей пользой, в последней и посильной, при создавшихся условиях, борьбе все с тем же врагом, самодержавием, которому не удалось нанести даже царапины. Разумность требовала тщательно приготовиться к единоборству со следствием, а затем и судом. Польза мыслилась, во-первых, как облегчение участи товарищей. Кое-что он может и, следовательно, должен сделать на допросах, беря на себя всю ответственность за организацию покушения. Во-вторых, он обязан с возможной полнотой осветить перед следствием и, особенно, на суде политический смысл заговора. В этом он всегда расходился с Шевыревым, как только заходил разговор о возможности оказаться в руках полиции.

Шевырев... Где-то он теперь? Будут ли его искать? Если все же и на него пало подозрение, найдут ли?.. Шевырев упорно занимал странную позицию. Он решительно возражал

против того, чтобы на суде, если не удастся его избежать, группа выступила с каким-то программным заявлением. Народовольцы, говорил он, сказали на своем процессе все, что нужно. Лучше их не скажешь. Да и зачем метать бисер перед свиньями? Ведь на суде никого, кроме судейских, иных царских чиновников не будет, и все слова будут похоронены в стенах судилища. А на следствии надо отнекиваться от всего. И вообще стараться выглядеть жалкой кучкой легкомысленных студентов, а не серьезным противником царского правительства.

Возражая ему, Александр не был в одиночестве. Его поддерживали и Лукашевич, и Никонов, и Говорухин. Обсуждалась и кандидатура — кто должен выступить на суде с программным заявлением от имени группы? Лукашевича сразу же признали непригодным для такой роли. Его польское происхождение могло дать правительству повод объявить заговор делом рук польских патриотов, их ответом на жестокие царские репрессии в Польше. Александр предложил эту роль Никонову, считая, что он лучше всех остальных ее выполнит. Никонов долго отказывался, говорил, что после таких великолепных речей, как речь Мышкина, Желябова, Веры Фигнер, его выступление будет детским лепетом.

Никонова все же убедили... Где-то он теперь? Удалось ли следствию доказать его связь с тайными офицерскими кружками, которые были раскрыты в январе? Может быть, до сих пор мытарят? Или куда-то уже успели законопатить?

Как видно, ему, Александру, выпадает теперь задача выступить с программной речью. Свои ораторские способности он оценивал скромно. Но было одно преимущество — программу писал он. После длительного обсуждения на группе она как-то сразу сложилась у него в голове, и, выйдя в другую комнату, он написал ее в один присест, так быстро, что все потом удивлялись и единодушно одобрили. Она прочно отпечаталась в памяти, но всетаки будущую речь надо основательно обдумать.

Кто же, однако, арестован? Все ли шесть человек, выходившие на Невский? Как они держатся? В металльщиках он не сомневался. А сигнальщики?.. В их стойкости он отнюдь не был уверен. И не ошибся — именно в результате их предательства в ночь на 3 марта в Петербурге был арестован Лукашевич, 7 марта в Ялте — Шевырев и даже припутаны к делу ни в чем не повинные люди.

3 марта Александр был вызван на первый допрос. Допрашивал его жандармский ротмистр с фамилией, точно специально придуманной — Лютов. Когда были записаны ответы на чисто формальные вопросы — имя, отчество, фамилия, возраст, семейное положение и т. д.,— Лютов предъявил Александру обвинение в «покушении на жизнь священной особы, его величества, государя императора Александра III» и прочитал выдержки из показаний Канчера, в которых раскрывалась вся деятельность группы, а ему, Александру, отводилась руководящая роль среди заговорщиков.

Откровенные и в высшей степени важные для следствия показания Канчера ошеломили Александра настолько, что он не сразу нашелся. После красноречивой паузы в протоколе допроса была записано:

«На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

Лютов, вероятно, с ехидной улыбкой, не без расчета «уважил» просьбу и приказал увести подследственного в его одиночную камеру.

Да, недавний «студент Ульянов» именовался теперь «подследственным Ульяновым», скоро его переименуют в «подсудимого Ульянова», а затем, уже навечно, назовут «казненным преступником Ульяновым». Но, вернувшись в одиночку, Александр думал не об этом. Его борьба со следствием сильно упрощалась в том смысле, что отрицать наличие заговора было уже нелепо. Но она и усложнялась. Канчер, несомненно, оговорил и всех остальных арестованных. Можно не сомневаться, что так же поступил и Горкун, да и Волохов. В этих условиях было гораздо труднее выгораживать товарищей. Оставалось одно — отказываться от каких-либо показаний на их счет вообще, а все, что раскрыто Канчером, не отрицать, но относить, по возможности, на свой собственный. Этой тактики он твердо придерживался в дальнейшем ходе следствия и на суде.

4 и 5 марта Александр подробно рассказывал следователю о своей собственной деятельности в группе — о приготовлении им динамита, отдельных частей метательных снарядов, пуль-жеребеек, изготовленных из кусочков листового свинца и начиненных стрихнином, о набивке снарядов взрывчаткой и так далее. Подробность, скрупулезность этих показаний может даже вызвать недоумение — почему бы не ограничиться перечислением только главных его действий в ходе подготовительных работ? Но в том-то и состояла тактика защиты товарищей, что он таким путем, «вызывая огонь на себя», старался отвести от них внимание следствия. Когда же ему называли их фамилии, он решительно отказывался что-либо говорить.

Эта тактика не ускользнула от оценки прокурора Неклюдова, который в своей речи на суде заметил: «Ульянов приписывает себе много такого, чего он в действительности не совершал». Заметила это и неискушенная в судебных тонкостях акушерка Мария Александровна Ананьина, судившаяся по тому же процессу. Впоследствии она говорила своей дочери, что «стремление Александра Ильича взять все на себя одного ощущалось даже тягостно другими».

Но и Александру было тягостно увидеть Ананьину на скамье подсудимых. Он с глубокой душевной болью думал о том, что только по его вине, по непростительной небрежности эта женщина оказалась привлеченной к судебной ответственности. В том же винил он себя, глядя на Михаила Новорусского, сидев-

шего среди обвиняемых почти рядом с ним. А вина кое-какая и в самом деле была.

Когда потребовалась надежная квартира для приготовления последней порции динамита, Александр обратился к Новорусскому. Они были знакомы по центральному кружку Союза студенческих землячеств. Воспитанник духовной академии, Михаил Новорусский не принадлежал к числу студентов, мыслящих революционно. Революционером его сделали двадцать лет шлиссельбургского заточения. Но он был верным товарищем и сразу же согласился помочь Александру. Он направил его к матери своей невесты, акушерке Ананьиной, которая жила в окрестностях Петербурга, в Парголове, рекомендовав ей Александра в качестве репетитора для сына. Александр пробыл у нее несколько дней, приготовил динамит и вернулся в Петербург. Но квартира Ананьиной стала известной Канчеру. Он туда отправлял все, что требовалось Александру для работы. Кроме того, уезжая от Ананьиной в Петербург, Александр оставил в ее квартире часть химической посуды и небольшую порцию нитроглицерина. Так оба, Новорусский и Ананьина, оказались в числе террористов, судимых Особым присутствием Правительствующего сената. Естественно, и в период следствия, и на суде Александр всячески старался отвести от них беду, но — безрезультатно. Новорусский был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости, Ананьина — к двадцатилетним каторжным работам.

Конечно, не в судебных инстанциях по-настоящему решалась судьба участников заговора. Уже 1 марта министр внутренних дел граф Толстой письменно докладывал царю о задержании на Невском метальщиков и сигнальщиков, о том, что на предварительном допросе один из них, Генералов, признался в намерении бросить найденный у него метательный снаряд «под карету государя императора», что прочие арестованные «пока от каких-либо объяснений отказываются». Он предложил также напечатать сообщение об этом в «Правительственном вестнике».

«Во избежание преувеличенных толков в городе,— значилось в угодливо-витиеватом обращении придворного,— по поводу ареста на Невском проспекте трех студентов с метательными снарядами, я полагал бы необходимым напечатать в «Правительственном вестнике» краткое сообщение об обстоятельствах, сопровождавших их задержание, и на приведение сего предложения в исполнение долгом поставляю себе всеподданнейше испрашивать Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения. Граф Дмитрий Толстой».

Царь согласился с предложением своего министра, но пошел гораздо дальше. «Собственною Его Величества рукою» на толстовском документе было начертано: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы узнавать от них все, что только возможно, не предавать их суду и просто без всякого шума отправить

в Шлиссельбургскую крепость. Это самое сильное и неприятное наказание».

Что заставило Александра III в дальнейшем изменить свое монаршее мнение, мы не знаем. Возможно, роковую роль сыграла программа террористической группы, особенно заголовок, который декларировал ее кровное родство с «Народной волей». 22 марта, получив копию только что восстановленной Ульяновым по памяти программы, он немедленно знакомится с нею и на полях делает свои безграмотные пометы вроде следующей: «Эта записка даже не сумасшедшаго, а чистаго идиота». Не этим ли объясняется его желание разузнать через таких словоохотливых членов террористической группы, как Канчер, Горкун, хоть что-то, пока неузнанное, неизвестное, о ненавистной и все еще страшной ему «Народной воле»? Во всяком случае, когда Мария Александровна Ульянова обратилась к нему с письменным прошением, умоляя разрешить ей свидание с сыном, царь согласился и объяснил Толстому, что такие свидания министр должен использовать для того, чтобы через мать выудить у сына хоть намек, не стоял ли за спиной богомерзких студентов кто-то из невыловленных агентов «Народной воли». И Толстой попытался это осуществить, но, конечно, не преуспел.

Свидания матери и сына были непередаваемо мучительны для обоих. Мария Александровна, глядя на сына, слыша его голос, не могла отделаться от мысли, что он уже на пороге смерти и что это свидание, быть может, последнее. У Александра тоже разрыва-

лось сердце, ему казалось, что в глазах матери все время стоит молчаливый укор: «Что ты сделал, мой мальчик! Разве я переживу это?»

Суд начался 15 апреля. Дело разбиралось в Особом присутствии сената, с участием сословных представителей. Судебный процесс шел в зале, где уже не раз громко звучали голоса революционных народников, террористов «Народной воли». Первоприсутствующий (председатель), сенатор Дейер, не первый раз отправлял их из этого зала на виселицу или на медленную смерть в казематах Петропавловки. Отправит и этих новичков, которые только что были подняты его возгласом со скамей, чтобы слушать чтение обвинительного акта. Потом он их удалит и будет вызывать по одному для дачи показаний.

Ульянов был готов к бою. Он был спокоен, внимателен ко всему. Разыскав глазами Чеботарева, которого вызвал для показаний в защиту Новорусского, поклонился недавнему своему сожителю по квартире, и тот ответил таким же глубоким поклоном. Лукашевичу успел шепнуть: «Если вам что-нибудь будет нужно, говорите на меня». Лукашевич признавался впоследствии, что в эту минуту ему стало ясно решение Александра Ильича сознательно идти на смерть.

Александр был готов и к схватке с экспертом, профессором артиллерийской академии генерал-майором Федоровым, насчет различных способов приготовления динамита. Это было нужно для защиты Ананьиной. Эксперт

утверждал, что Ананьина не могла не знать о тайном приготовлении Ульяновым в ее квартире какого-то химического состава. Аргументом служило то, что изготовление динамита неизбежно сопряжено с выделением резкого и удушливого запаха. Когда на втором заседании Федоров высказал это мнение, бывший студент посрамил маститого, но недобросовестного профессора, указав, что существует простой способ, позволяющий полностью избежать выделения какого-либо запаха. Именно этим способом и готовился в Парголове динамит.

На несколько ходов вперед была обдумана и защита Новорусского — недаром Саша Ульянов еще в гимназии славился как отменный шахматный игрок. Что же касается программной речи, то она неумолчно, но пока еще тихо звучала в его ушах, не мешая другим мыслям.

Свидание с товарищами после долгого перерыва еще выше подняло его дух. Они тоже были спокойны и решительны. А Генералов и Андреюшкин даже веселы, словно пришли зрителями на пьесу, которая должна их позабавить. Дейер не раз на заседаниях грубо обрывал их смех, называя его крайне неприличным и вызывающим. Даже грозился удалить из зала суда. Лишь Канчер, Горкун и Волохов трусливо жались друг к другу на краю массивной дубовой скамьи подсудимых, стоявшей во втором ряду.

Ульянов отказался от защитников, решив выступить в прениях сторон сам, но не для собственной защиты, а для программных

заявлеиий. К сожалеиию, его речь была застенографироваиа очень плохо. Но те, кому удалось ее слушать, были поражены ее железной логикой и силой убеждений.

В. Поссе со слов сенатора Тагаицева писал впоследствии: «Ои смотрел иа судей, как на врагов, и пощады от них не ждал. Но и на врагов произвела сильиое впечатлеиие его смелая речь». А вот слова самого Тагаицева: «Вспомииаю, что из соподсудимых ои производил наиболее симпатичиое впечатлеиие, как искреиие предаиный тому делу, за которое ои шел иа казнь; тем идеям, осуществлеиие коих, хотя бы и путем террора, он считал необходимым для счастья и блага родины». Издававшийся за граиицей иелегальный печатный оргаи «Свободиая Россия» в начале 1889 года писал: «Речь, произиесенная Ульяновым, произвела очень сильное впечатление; ее сравнивают с речью Желябова...»

Мария Александровиа, присутствовавшая иа этом заседаиии суда, рассказывала своей старшей дочери:

«— Я удивилась, как хорошо говорил Саша: так убедительно, так красиоречиво. Я ие думала, что ои может говорить так. Но мне было так безумио тяжело слушать его, что я не могла досидеть до коица его речи и должиа была выйти из зала».

«Относительно своей защиты, — начал свою речь Алексаидр,— я иахожусь в таком же положении, как Генералов и Аидреюшкии. Фактическая стороиа установлеиа вполие верно и ие отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительио к праву из-

ложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление».

Однако Александр тут же перевел речь об «умственном процессе» с плоскости личной на плоскость обобщения. Он характеризовал его как процесс, типичный для каждого революционера, становящегося в ряды террористов. «Среди русского народа,— говорил он,— всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь».

Вину за террористические действия, за возникновение в прошлом — и непременно в будущем — террористических заговоров и покушений Александр целиком возлагал на царя, на его правительство, на общественный строй и полностью освобождал от нее террористов, вынужденных силою вещей прибегнуть к оружию террора.

Вообще, центральным местом его речи была железная цепь аргументов, доказывавших, что существующая система правления, весь строй жизни России неизбежно рождают самые крайние способы борьбы за политические свободы. Общество неизбежно и бурно протестует против реакционного режима, когда «невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна». Стоит открыть народу хотя

бы маленькую отдушину для свободной политической мысли, как террор сам собою немедленно исчезнет из практики политической борьбы.

Как ни плотно были закрыты двери суда, многое через них просочилось, и общественное мнение прогрессивных и либеральных кругов пришло к выводу, что политический итог процесса явно сложился не в пользу царской власти. Но это, естественно, никак не могло повлиять на решение суда.

Приговор был жесток до предела: все подсудимые, без единого исключения, были присуждены к «смертной казни через повешение», причем на них издевательски были еще возложены судебные издержки — «поровну, с круговой друг за друга ответственностью и с принятия таковых на счет казны при несостоятельности подсудимых».

Последний пункт приговора гласил, что суд находил возможным, учитывая «близкий к несовершеннолетию возраст» Канчера, Горкуна и Волохова, а также ввиду их «чистосердечного раскаяния и содействия при самом начале дознания к раскрытию преступления» ходатайствовать перед царем о замене всем троим смертной казни двадцатилетними каторжными работами. О такой же замене он ходатайствовал в отношении Ананьиной. Наконец, испрашивалась монаршая милость в виде замены смертной казни иными наказаниями Пашковскому, Пилсудскому, Шмидовой и Сердюковой.

Таким образом, казни подлежали семь подсудимых — Ульянов, Шевырев, Андре-

юшкин, Генералов, Осипанов, Лукашевич и Новорусский.

Одиннадцать из пятнадцати приговоренных, среди которых были Шевырев, Лукашевич, Новорусский, обратились к Александру III с «всеподданнейшим» ходатайством о помиловании. Двум последним царь заменил повешение бессрочным заточением в Шлиссельбургскую крепость, Шевыреву было отказано, остальным из подавших — утверждены наказания, о которых ходатайствовало Особое присутствие. Шлиссельбургская крепость готовилась к повешению пяти террористов.

На свидании после суда Мария Александровна долго убеждала сына, как она впоследствии рассказывала об этом Анне Ильиничне, подать прошение о помиловании. Александр сказал, что после своих признаний на суде он так поступить не может. Ведь обращение к царю требовало бы признания вины, покаянных слов. А он за собой никакой вины перед царем не признает и покаянных слов написать не может. И еще говорил, что замена казни вечным заточением хуже смерти, что таким узникам разрешается читать только духовные книги. Разве это жизнь? «Этак можно до полного идиотизма дойти».

— Неужели ты бы этого желала для меня, мама?

Потерявшая всякую надежду, мать нашла в себе силы только для того, чтобы спросить, нет ли у него какого-нибудь желания.

Он задумался на минуту. Еще раньше, на одном из свиданий, он просил выкупить золотую университетскую медаль, заложенную за

100 рублей. Продав за 130 — такова ее продажная цена,— Мария Александровна должна была отдать 30 рублей некоему Туликову. Просил он также вернуть две одолженные им редкие книги их владельцам... Нет, больше никаких обязательств перед товарищами не было. И он сказал, что хотелось бы почитать Гейне. Мария Александровна растерялась, не знала, как и где раздобыть томик стихов. Тогда присутствовавший на свидании молодой прокурор Князев, потрясенный нравственным обликом Александра Ульянова, взялся выполнить последнее желание приговоренного к смерти и сдержал свое слово.

24 апреля Александр снова был вызван на свидание. Но вместо матери увидел... мужа двоюродной сестры — Матвея Леонтьевича Песковского. Это было как удар обуха по голове. Александр пошатнулся и замер. Он уже понял, с чем явился нежданный посетитель.

Бойкий литератор и говорун, как характеризовала Песковского Анна Ильинична, был доволен произведенным впечатлением. Оно помогало ему в намерении заставить Александра просить царя о помиловании.

Нет, нет, Мария Александровна жива, но прийти не могла, так как находится на грани смерти или потери рассудка. И он, боясь малейшего промедления, добился-таки разрешения на свидание, чтобы сказать об этом Александру и напомнить ему о его долге перед матерью и семьей.

Долг, долг!.. Но он, Александр, уже простился с жизнью, и нет у него больше никаких долгов перед живыми.

Но Песковский не переставал твердить о долге, снова напоминая и напоминая: мать казни не перенесет. Да и что, если говорить начистоту, удерживает Александра от того, чтобы обратиться к монарху? Гордость! Самолюбивая гордость, ничего больше. Ради нее и приносятся в жертву жизнь матери, судьба всей семьи.

У Александра мутилось сознание, он как-то весь ослабел. Не выдержав этой нравственной пытки, сдался, обратился к царю со следующими строками: «Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием. Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Анна Ильинична писала, что это была «последняя, может быть, горшая из всех нравственная пытка». Она к тому же была и совершенно бесполезная. «Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему,— передавал впоследствии Песковский Анне Ильиничне.— Никакого раскаяния, и подпись даже не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю».

8 мая в 3 часа 30 минут утра разбуженным за полчаса до казни смертникам было объявлено о предстоящем проведении приговора в исполнение. Докладывая об этом царю со слов товарища прокурора Петербургского окружного суда Щегловитого, министр внутренних дел Д. Толстой писал, что «все они сохранили полное спокойствие и отказались от принятия святых таинств». На эшафот вошли «бодро и спокойно».

Казнили их в два приема, так как двор старого тюремного здания был невелик и установить более трех виселиц оказалось невозможным. Сначала вывели Генералова, Андреюшкина и Осипанова. Когда их трупы были сняты с виселиц, на двор вывели Ульянова и Шевырева. Все совершилось так тихо, что узники Шлиссельбурга, в том числе Новорусский и Лукашевич, спали спокойным сном. Лишь много времени спустя им стало известно о казни пятерых товарищей.

Надежда Константиновна Крупская писала:

«Судьба брата имела, несомненно, глубокое влияние на Владимира Ильича. Большую роль при этом сыграло то, что Владимир Ильич к этому времени уже о многом самостоятельно думал, решал уже для себя вопрос о необходимости революционной борьбы.

Если бы это было иначе, судьба брата, вероятно, причинила бы ему только глубокое горе или в лучшем случае вызвала бы в нем решимость и стремление идти по пути брата. При данных условиях судьба брата обострила лишь работу мысли, выработала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде в глаза, не давать себя ни на минуту увлечь фразой, иллюзией, выработала в нем величайшую честность в подходе ко всем вопросам».

В удивительной семье Ульяновых формировался еще один революционер, великий пролетарский революционер, ставший всемирно известным под именем — Ленин.

Содержание

На обложке портрет А. И. Ульянова,
гравюра на дереве художника *А. И. Калашникова*

Редактор *В. Н. Светцов*

Художественный редактор *Н. Н. Симагин*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Ответственные корректоры
Л. В. Маслова, В. А. Машкова

Сдано в набор 18 августа 1970 г. Подписано в печать 2 ноября 1970 г. Формат $70 \times 90^1/_{32}$. Бумага типографская № 2. Условн. печ. л. 5,71. Учетно-изд. л. 5,22. Тираж 200 тыс. экз. А08863. Заказ № 3748. Цена 17 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.

17 коп.

